Альфонс Доде

Сафо

(пер. Николай Михайлович Любимов)

Моим сыновьям - с условием, что они прочтут эту книгу, когда им исполнится двадцать лет.

I

- Да ну, посмотрите же на меня!.. У вас красивые глаза… Как вас зовут?

- Жан.

- Просто-напросто Жан?

- Жан Госсен.

- Вы южанин, вас выдает произношение… Сколько вам лет?

- Двадцать один год.

- Вы художник?

- Нет.

- Ах, как хорошо!..

Июньской ночью на бале-маскараде, в оранжерее, где росли пальмы и

древовидный папоротник, служившие фоном мастерской Дешелета, обменивались обрывками этих фраз, заглушаемых криками, смехом, танцевальной музыкой, pifferaro [1 - Волынщик (итал.).] и феллашка.

На ее настойчивые расспросы pifferaro отвечал с простодушием, свойственным его нежному возрасту, с увлечением, с чувством облегчения, которое испытывал сейчас этот долго молчавший южанин. Чуждый миру художников и скульпторов, при входе на бал тотчас потерявший приятеля, который его сюда привел, он целых два часа прохаживался от скуки по залам, а женщины заглядывались на этого красивого блондина с лицом, покрытым золотистым загаром, с мелкими и густыми, как ворс на его костюме, завитками волос, и незаметно для южанина вокруг него уже вздымалась и рокотала волна успеха.

Танцоры толкали его, молодые художники хихикали над волынкой, которую он держал боком, хихикали над тяжелой одеждой горца, в которой ему летней ночью было мучительно жарко. Между тем японка с глазами простолюдинки, с поддерживавшими ее высокую прическу стальными прутьями, задорно поглядывая на него, напевала: “Ах, как ты хорош, ах, как ты пригож, парень молодой!..” А невеста-испанка в шелковом платье с белыми кружевами, идя под руку с вождем индейского племени, яростно тыкала ему в нос букетом жасмина.

Он ничего не мог понять в этих заигрываниях; ему представлялось, что вид у него, наверное, сейчас уморительный, и он предпочел укрыться в прохладной тени застекленной галереи, где у самой стены под деревьями стоял широкий диван. Тут-то к нему и подсела эта женщина.

Красивая, молодая?.. Это он не сумел бы сказать… Из длинного синего шерстяного платья, обтягивавшего ее полное тело, выступали голые до плеч тонкие округлые руки. Изящные пальцы, унизанные кольцами, серые, широко раскрытые глаза, величину которых подчеркивали свисавшие со лба затейливые металлические украшения, - все это удивительно гармонировало.

Наверно, актриса. У Дешелета их перебывало много. Эта догадка встревожила его - подобная категория женщин внушала ему непреодолимый страх. Она сидела рядом, уперев локоть в колено, уронив голову на руку, и смотрела на него торжественно-грустно и слегка

утомленно.

- Нет, вы правда южанин?.. А волосы какие светлые!.. Это редкость.

Потом ей захотелось узнать, когда именно он переехал в Париж, труден ли экзамен на право занятия должности консула, много ли у него знакомых и как он очутился на вечере у Дешелета, на Римской, так далеко от Латинского квартала.

Когда он назвал фамилию студента, который его сюда привел (Ла Гурнери… родственник поэта… ей, конечно, известно это имя…), лицо ее внезапно омрачилось, но он не обратил на это внимания: он был еще в том возрасте, когда глаза блестят, ничего не видя вокруг. Ла Гурнери обещал, что его двоюродный брат тоже будет здесь и что он их представит друг другу.

- Я так люблю его стихи!.. Я был бы счастлив с ним познакомиться…

Она грустно улыбнулась, - видимо, он внушал ей жалость своей непосредственностью, - изящным движением приподняла плечи, а затем, отведя рукой легкие листья бамбука, устремила взгляд на бал - не видать ли там великого человека.

Празднество между тем блистало и кружилось, как апофеоз в феерии. В мастерской никто не работал, а потому ее скорее можно было назвать холлом, и на легких, летних обоях этой громадной двусветной залы, на шторах из тонкой соломы, на газовых занавесках, на лакированных ширмах, на разноцветной посуде, на кусте желтых роз, закрывавшем очаг высокого камина в стиле Возрождения, играл причудливый, радугой переливающий свет бесчисленных фонариков, китайских, персидских, мавританских, японских, из резного железа, со стрельчатым сводом, точно дверь мечети, из цветной бумаги, придававшей им сходство с плодами, распахнутых в виде веера, напоминавших цветок, птицу ибиса, змею. По временам стремительная мощная струя голубоватого электрического света заставляла тускнеть сонм огоньков и заливала лунным сиянием лица и обнаженные плечи, фантасмагорию тканей, перьев, блесток, лент, во время танцев задевавших одна другую, поднимавшихся по голландской лестнице с широкими перилами, ведшей на галереи второго этажа, над которыми возвышались грифы контрабасов и мелькали осатанелые взмахи

дирижерской палочки.

Молодой человек смотрел на все это сквозь сетку зеленых ветвей и цветущих лиан, составлявших часть убранства, обрамлявших празднество, и в силу обмана зрения ему казалось, будто навстречу танцевальной суете взлетают гирлянды глициний и увивают серебряный шлейф принцессы, будто лист драцены накрывает милую головку пастушки, одетой в стиле помпадур. Его интерес к зрелищу усиливался благодаря тому, что египтянка называла имена - широко известные, славные имена, скрытые под маскарадными костюмами, забавными в своем разнообразии и замысловатости.

Псарь с коротким хлыстом через плечо - это Жадэн. Чуть дальше - в поношенной сутане сельского священника - старик Изабе; он кажется выше своего роста оттого, что в каждую из его туфель с пряжками подложена целая колода карт. Из-под огромного козырька фуражки инвалида улыбается старик Коро. Еще она ему показала Тома Кутюра, вырядившегося бульдогом, Юндта, вырядившегося “тюремной крысой”, и Хама, вырядившегося диковинной птицей.

Пышные исторические костюмы, в которые облеклись совсем молодые художники, изображавшие кто Мюрата в шляпе с султаном, кто принца Евгения, кто Карла I, подчеркивали разницу между двумя поколениями: молодые художники были мрачны, холодны, их лица напоминали лица биржевиков, которых старят особого рода морщины, пролагаемые заботами о деньгах, зато старики были куда более шаловливы, шумливы, ребячливы, непоседливы.

Несмотря на свои пятьдесят пять лет и академические пальмы, скульптор Каудаль был в костюме балаганного гусара, с голыми руками, выставлявшими напоказ мощные бицепсы, с подвешенной наподобие ташки палитрой, бившей его по длинной ноге; он покачивал бедрами, представляя последнего кавалера времен Гранд-Шомьер, а напротив него композитор де Поттер, который изображал подгулявшего муэдзина, в тюрбане набекрень танцевал танец живота и пронзительно выкрикивал: “Алла ил алла!”

Широкий круг гостей отгораживал расшалившихся знаменитостей от танцоров. На самом виду хозяин дома Дешелет щурил под высокой

персидской папахой свои маленькие глазки, морщил калмыцкий нос, выставлял седеющую бородку, радовался тому, как развлекаются другие, и сам неприметно для окружающих веселился от души.

Инженер Дешелет, лет десять-двенадцать тому назад представлявший собой заметную фигуру в парижском художественном мире, щедрый, богатый, с поползновениями на причастность к искусству, отличавшийся той внутренней свободой, тем презрением к общественному мнению, которое вырабатывает в человеке образ жизни вечного путешественника и холостяка, в ту пору строил железную дорогу Тавриз - Тегеран и каждый год, чтобы прийти в себя после десятимесячного напряжения, после ночей в палатке, после лихорадочной скачки по пескам и болотам, проводил самое жаркое время года вот в этом особняке на Римской улице, построенном по его чертежам, обставленном, как летний дворец, собирал у себя умных мужчин и красивых женщин и требовал от цивилизации, чтобы она за несколько недель угостила его самыми пряными своими лакомствами.

”Дешелет приехал!” Как только, подобно театральному занавесу, над многооконным фасадом особняка поднимался огромный тиковый навес, новость мгновенно обегала мастерские. Это означало, что пойдет веселье, что предстоит два месяца музыки и танцев, приволья и раздолья, будившего сонную тишь богатого квартала, разъезжавшегося по дачам и морским курортам.

Сам Дешелет не участвовал в вакханалии, день и ночь бурлившей вокруг него. Неутомимый гуляка привносил в развлечения буйство холодное, он смотрел по сторонам блуждающим, улыбчивым взглядом человека, только что накурившегося гашишу, и вместе с тем взгляд его поражал несокрушимым спокойствием и несокрушимой трезвостью. Верный друг, дававший взаймы без счета, к женщинам он питал чисто восточное презрение, уживавшееся со снисходительностью и учтивостью. И ни одна из тех, что приходили к нему, привлеченные его огромным состоянием и жизнерадостной изобретательностью его окружения, не могла похвалиться, что была его любовницей больше одного дня.

- Что ни говорите, а человек он хороший… - добавила египтянка, продолжавшая просвещать Госсена, и вдруг, оборвав себя на полуслове, воскликнула: - Вот он, ваш поэт!..

- Где? Где?

- Да вот, прямо перед вами… в костюме деревенского жениха…

У молодого человека вырвался вздох разочарования. Так вот он, его любимый поэт! Толстяк, лоснящийся, потный, в пристежном воротничке, в пестром жилете, точно снятом с деревенского щеголя, расточающий тяжеловесные любезности!.. Госсену мгновенно пришли на память вопли отчаяния из “Книги о любви”, которую он не мог читать без лихорадочного волнения, и он машинально произнес вслух:

Чтоб жизнь вдохнуть, Сафо, в твой горделивый мрамор,

Ты знаешь - отдал я по капле кровь мою…

Она живо обернулась, отчего пришли в движение и зазвенели все ее восточные украшения.

- Что вы сказали?

Это были стихи Ла Гурнери. Госсен удивился, что она их не знает.

- Я не люблю стихов… - отрезала она.

Некоторое время она стояла неподвижно, хмуря брови, глядя на танцующих и нервно теребя чудесные гроздья сирени. Затем, справившись с волнением, что, видимо, стоило ей немалых усилий, сказала:

- Прощайте!

И скрылась.

Бедный pifferaro остался в полном недоумении. “Что с ней?.. Неужели я сказал ей что-нибудь обидное?..” Он стал припоминать, но так ничего и не припомнил и подумал, что самое лучшее - пойти домой спать. С унылым видом подхватил он свою волынку и, менее озадаченный исчезновением

египтянки, чем необходимостью пробираться к двери через всю эту толпу, вошел в бальную залу.

Сознание, что здесь столько знаменитостей, а он никому не известен, наводило на него еще большую робость. Уже никто почти не танцевал. Лишь несколько парочек с остервенением вертелись под звуки замиравшего вальса, и среди них Каудаль, величественный, громадный, держа голову прямо, кружил низенькую санкюлотку, - волосы у нее развевались, а он крепко держал ее своими красными руками.

В настежь распахнутое большое окно в глубине залы потоками вливался утренний бледнеющий воздух, колыхал листья пальм и пригибал огоньки свечей, как бы стараясь задуть их. Вспыхнул бумажный фонарик, загорелись розетки. Вдоль стен слуги расставляли круглые столики, как на террасах кафе. У Дешелета всегда так ужинали - по четыре, по пять человек за столиком. И вот тут-то вы подбирали симпатичных вам людей и объединялись с ними.

Смешались возгласы, свирепые переклички, непристойный жаргон окраин, отвечавший на крикливое “йю-йю-йю-йю!” дочерей Востока, разговоры вполголоса и сладострастный смех женщин, возбужденных лаской.

Госсен воспользовался было суматохой, чтобы проскользнуть к выходу, но в эту минуту его приятель-студент, вспотевший, с выпученными глазами, держа под мышками бутылки, остановил его.

- Где вы пропадаете?.. Я вас искал, искал… У меня уже есть столик, женщины, маленькая Башельри из Комедии-Буфф… Запомните: она одета японкой… Она послала меня за вами… Скорей, скорей!..

С этими словами он убежал.

Pifferaro хотелось пить. Вдобавок ему кружил голову бальный хмель, а тут еще славненькая актрисулька делала ему знаки. И вдруг над самым его ухом послышался мягкий, настойчивый шепот:

- Не ходи туда!..

Он оглянулся: перед ним стояла его давешняя собеседница, затем она

повела его к выходу, и он не колеблясь последовал за ней. Почему? Тут действовали не чары этой женщины: он ее едва разглядел, а та, что звала его, кивая высокой прической на стальных прутьях, нравилась ему гораздо больше. Он подчинился более сильной воле, неукротимой страстности желания.

”Не ходи туда!..”

И вот они очутились на тротуаре Римской улицы. Освещенные бледным утренним светом, дожидались седоков фиакры. Метельщики, шедшие на фабрики рабочие окидывали взглядом разбушевавшийся, расплескавшийся пир, эту масленицу в разгаре лета, и ряженую парочку.

- К вам или ко мне?.. - спросила женщина.

Госсену почему-то подумалось, что лучше бы к нему, хотя жил он далеко, и он дал извозчику свой адрес. В продолжение всей дальней дороги они почти не разговаривали. Она только держала его за руку, и он чувствовал, что руки у нее маленькие и холодные. Если б не холод этого нервного прикосновения, он мог бы подумать, что его спутница уснула, - она откинулась на спинку фиакра, и по лицу у нее скользил голубой отсвет шторы.

Фиакр остановился на улице Жакоб, против дома, где жило студенчество. Подняться надо было на пятый этаж - высоко и трудно.

- Хотите, я вас понесу?.. - спросил он, смеясь, но смеясь чуть слышно, оттого что все в доме спали.

Она смерила его медленным взглядом, пренебрежительным и нежным, оценивающим взглядом опытной женщины, внятно говорившим: “Бедное дитя!..”

Тогда он, отдавшись красивому порыву, свойственному его возрасту и южному происхождению, подхватил ее на руки, понес легко, как ребенка, - цвет лица у него был девичьи нежный, а сам он был сильный и стройный, - и, счастливый тем, что у него такая ноша, тем, что его шею обвили красивые свежие голые руки, не поднялся, а взлетел на второй этаж.

Подъем на третий этаж продолжался дольше и уже не доставил ему

удовольствия. Безвольное тело женщины становилось все тяжелее. Ее металлические висюльки сначала приятно щекотали его, а теперь они все яростнее в него впивались.

На четвертом этаже он дышал так шумно, словно перетаскивал фортепьяно. Он ловил ртом воздух, а она, глядя на него из-под полуопущенных век, в восторге шептала:

- Ах, дружочек, как приятно!.. Как хорошо!..

Когда же он одну за другой брал приступом последние ступеньки, ему казалось, будто перила, стены, узкие окна гигантской лестницы бесконечной спиралью уходят вверх. Не женщину нес он теперь, а что-то тяжелое, страшное, от чего он задыхался и что каждую секунду готов был выпустить из рук, злобно швырнуть, хотя бы даже оно разбилось вдребезги.

Но вот он поднялся на узкую верхнюю площадку.

- Уже?.. - открыв глаза, проговорила она.

А он, бледный как смерть, прижав руки к сердцу, которое, казалось, вот-вот разорвется, подумал:

”Наконец!..”

Подумал, но не сказал.

Что же такое вся их история и этот подъем на лестницу в тоскливой пасмури утра?

II

Он продержал ее у себя два дня. Потом она ушла, оставив у него ощущение нежной кожи и тонкого белья. Она сообщила ему только свое имя, адрес и прибавила:

- Когда я вам буду нужна - позовите… Явлюсь по первому зову.

На маленькой визитной карточке, изящной, надушенной, было напечатано:

//- Фанни Легран - //

//- Улица Аркад, 6 - //

Он сунул ее за зеркало между приглашением на бал в министерство иностранных дел и затейливо разрисованной программой вечера у Дешелета, - это были два его выхода в свет за целый год. И воспоминание о женщине, несколько дней еще плававшее вокруг камина в легком и нежном облаке аромата, улетучилось вместе с облаком, и у серьезного, трудолюбивого Госсена, пуще всего остерегавшегося парижских развлечений, даже не возникло мысли возобновить мимолетную связь.

Экзамен при министерстве должен быть в ноябре. На подготовку остается всего три месяца. После экзамена надо будет еще три-четыре года стажировать в канцеляриях, а потом он куда-нибудь уедет, уедет очень далеко. Мысль о добровольном изгнании не пугала его, - традиция Госсен д’Арменди, старинного авиньонского рода, требовала, чтобы старший сын делал себе, что называется, карьеру - по стопам своих предшественников, с их благословения и при их нравственной поддержке. Для нашего провинциала Париж являлся лишь первой остановкой на долгом-долгом пути, и это обстоятельство препятствовало образованию мало-мальски серьезных привязанностей как в любви, так и в дружбе.

Однажды вечером, недели через две после бала у Дешелета, Госсен зажег лампу, разложил на столе книги и только сел за работу, как вдруг кто-то робко к нему постучал. Он отворил дверь и увидел даму в изящном светлом туалете. Узнал он ее лишь после того, как она приподняла вуалетку.

- Как видите, это я… Я опять пришла…

Перехватив озабоченный, недовольный взгляд, который он бросил на начатую работу, она добавила:

- О, я вам не помешаю!.. Я знаю, как это бывает неприятно…

Она сняла шляпку, взяла “Вокруг света”, села и, по видимости углубившись в чтение, больше уже не шевелилась. Но всякий раз, как Госсен поднимал на нее глаза, их взгляды встречались.

Право же, надо было обладать изрядной выдержкой, чтобы тотчас же не сдавить ее в объятиях - так она была соблазнительна, так много обаяния было в ее маленькой головке с низким лбом, во вздернутом носике, в чувственных, добрых губах, в гибкой зрелости тела, облаченного в платье, сшитое с парижской безукоризненностью, более для него притягательное, нежели балахон дочери Египта.

Наутро она ушла от него рано, но потом до конца недели приходила еще несколько раз, всегда бледная, с холодными влажными руками, и говорила голосом, сдавленным от волнения.

- Я же вижу, что я тебе надоедаю, что я тебе мешаю, - твердила она. - Во мне мало самолюбия… Если б ты знал!.. Утром, когда я от тебя ухожу, всякий раз я даю себе клятву больше не приходить. Но вечером на меня опять накатывает, - просто какое-то наваждение.

Сила ее чувства возбуждала его любопытство, изумляла его, - ведь он привык относиться к женщинам с пренебрежением. Девицы из пивной или со скетинг-ринга, которых он знал до нее, - среди них попадались иной раз совсем юные и миловидные, - оставляли в его душе такое неодолимое отвращение к их глупому смеху, к их рукам, как у кухарки, к грубости их инстинктов и выражений, что, когда они уходили, ему хотелось проветрить комнату. По наивности неискушенного, он полагал, что все сговорчивые девушки одинаковы. Вот почему он с таким удивлением обнаруживал в Фанни нежность, чисто женскую сдержанность и отличавшие ее от мещаночек, с которыми он встречался в провинции, столичный лоск и широкую осведомленность, - с ней можно было не без интереса поговорить о многом.

Вдобавок она была музыкальна, пела, сама себе аккомпанируя, чуть надтреснутым, небольшого диапазона, но уверенным контральто песни Шопена и Шумана и народные мелодии: беррийские, бургундские, пикардийские - у нее их был изрядный запас.

Госсен, обожавший пение - искусство, рожденное негой и вольным

воздухом, искусство, которому с такой страстью предаются его соотечественники, - упивался звуками даже во время работы, звуками сладко баюкал свой отдых. И в Фанни его особенно восхищала ее любовь к пению. Он как-то выразил ей удивление, почему она не на сцене, и узнал, что она пела в Комической опере. “Только недолго… Мне там было очень скучно…”

В ней и правда не было ничего натасканного, ничего заученного, ничего от артистки; она была начисто свободна и от тщеславия, и от лицемерия. Она лишь отделяла от постороннего взора свою жизнь завесой тайны, и тайну эту не открывала даже в часы ласк, благо ее возлюбленный и не пытался отдернуть завесу, благо он не был ни ревнив, ни любопытен, не смотрел на часы, когда она в условленное время входила к нему в комнату, благо он еще не испытывал мук ожидания, когда в груди отсчитывает часы и минуты маятник нетерпения и страсти.

Лето в тот год было прекрасное, и они отправлялись иногда любоваться живописными окрестностями Парижа, - их точная и подробная карта была у нее в голове. Они втискивались в густую шумную толпу уезжавших с пригородными поездами, обедали в кабачке где-нибудь на опушке леса или на берегу речки, избегая слишком людных мест. Как-то раз он предложил ей поехать в Воде-Серне.

- Нет, нет!.. Только не туда!.. Там уж очень много художников…

Госсен вспомнил, что их любовь возникла именно из ее антипатии к художникам. На его вопрос, откуда у нее эта неприязнь, она ответила так:

- Все они сумасброды, путаники, фантазеры… Мне они сделали много зла…

Он попытался возразить:

- Но ведь искусство само по себе так прекрасно!.. Ничто так не украшает жизнь и не расширяет кругозор, как искусство.

- Нет, дружочек, самое прекрасное, что есть на свете, это быть простым и прямодушным, как ты, да еще чтобы каждому было по двадцать лет и чтобы очень любить друг друга…

Двадцать лет! Да ей нельзя было дать больше, такая она была оживленная, легкая на подъем, всегда веселая, всегда всем довольная.

Однажды они накануне праздника приехали в Сен-Клер и, очутившись в долине Шеврез, не нашли комнаты. Было уже поздно; чтобы добраться до ближайшего селения, надо было идти ночью лесом целую милю. В конце концов им предложили складную койку, стоявшую в дальнем конце сарая, где спали каменщики.

- Ну что ж!.. - сказала она со смехом. - Это мне напоминает времена моей бедности.

Значит, она когда-то бедствовала!

Долго пробирались они ощупью между занятыми койками в обширном, недавно побеленном сарае, освещенном чадившей коптилкой, стоявшей в углублении стены… И всю ночь, прижавшись друг к другу, они приглушенно смеялись и целовались под стоны и храп усталых соночлежников, блузы и грубая обувь которых валялись возле шелкового платья и изящных туфелек парижанки.

На зорьке отворилась проделанная в широких воротах дверца, матовый луч света коснулся коек, убитой земли, а затем чей-то сиплый спросонок голос крикнул:

- Эй, шатия-братия!..

После этого в сарае, снова погрузившемся в мрак, началась медленная, тягостная возня, послышались зевота, потягивание, надсадный кашель - весь тот унылый шум, который наполняет пробуждающееся человеческое общежитие. Немного погодя неповоротливые, молчаливые каменщики один за другим вышли из сарая, так и не догадавшись, что в том же помещении ночевала хорошенькая женщина.

Когда рабочие ушли, она встала, ощупью оделась, наскоро скрутила волосы пучком.

- Подожди… Я сейчас приду…

И правда, через несколько минут она вернулась с охапкой полевых

цветов, мокрых от росы.

- А теперь будем спать… - сказала она и принялась раскидывать по постели утреннюю пахучую свежесть цветущего луга, разрежавшую вокруг них спертый воздух сарая. И никогда еще не казалась она ему такой красивой, как в этот миг, когда, радуясь восходящему солнцу, с растрепавшимися на ветру легкими кудряшками, она принесла в сарай полевые цветы.

Еще как-то они завтракали в Вилль-д’Авре на берегу пруда. Осеннее утро окутывало туманом тихую воду и ржавчину лесов напротив них. Они ели рыбу и, думая, что они одни во всем ресторанчике, устроенном в саду, под открытым небом, вдруг, не удержавшись, поцеловались. В ту же минуту из грубо сколоченного павильончика, спрятавшегося среди ветвей платана, у подножия которого стоял их столик, послышался громкий сердитый голос:

- Эй вы! Долго вы еще будете лизаться?..

Вслед за тем в проеме выставилась львиная морда и рыжие усы скульптора Каудаля.

- Я бы с удовольствием позавтракал с вами… А то сидишь тут в дупле, как сыч…

Фанни промолчала, она была явно смущена этой встречей. Госсен, напротив, поспешил пригласить Каудаля, - его интересовал знаменитый скульптор, ему было лестно это знакомство.

Сегодня Каудаль, кокетливый при внешней небрежности, ибо все у него было строго рассчитано, начиная с галстука из белого крепдешина, призванного скрадывать красноту морщин и мелких прыщей, и кончая узким пиджаком, обрисовывавшим еще стройную талию и развитые мускулы, показался Госсену старше, чем на балу у Дешелета.

Но что его изумило и даже несколько озадачило, так это интимный тон скульптора с его возлюбленной. Он называл ее “Фанни”, обращался к ней на “ты”.

- Знаешь, - говорил он, ставя свой прибор на их скатерть, - я уже две

недели вдовею. Мария ушла с Моратером. Первое время я был спокоен… Но сегодня утром, когда я вошел в мастерскую, у меня опустились руки… Не могу работать, да и только… Бросил я мою группу и поехал завтракать за город. Но если ты один, то радости никакой… Еще немножко, и я оросил бы слезами фрикасе из кроликов…

Затем он перевел взгляд на провансальца: пробивающаяся бородка и вьющиеся волосы Госсена, отражаясь в бокалах, окрашивались в тона сотерна.

- Хорошо быть молодым!.. Полная гарантия, что тебя не бросят… А самое главное - сознание, что ты это заслужил… Ты выглядишь так же молодо, как он…

- Невежа!.. - сказала она, смеясь, и в смехе ее звучало нестареющее обаяние, молодость женщины, любящей и желающей, чтобы любили и ее.

- Ты удивительна… удивительна… - повторил Каудаль; он ел и одновременно наблюдал, и один из углов его рта оттягивала складка завистливой грусти. - Послушай, Фанни: помнишь, как мы с тобой здесь завтракали? Давно это было, страх как давно!.. С нами еще были Эдзано, Дежуа - вся наша компания… И ты свалилась в пруд. На тебя надели мундир речного сторожа. Тебе это отчаянно шло…

- Не помню… - сказала она холодно и вполне искренне; эти изменчивые, вечно рискующие натуры живут сегодняшним днем своей любви. Они не помнят прошлого, они не боятся будущего.

Каудаль, напротив, был весь в прошлом; под действием сотерна он перебирал в памяти похождения своей неутомимой молодости: похождения любовные, кутежи, поездки за город, балы в Опере, труды в мастерской, битвы и победы. Но, вскинув на влюбленных глаза, в которых горел отсвет тех костров, которые он сейчас разворошил в душе, он заметил, что они его не слушают: они перекладывали друг другу изо рта в рот виноградинки.

- Должно быть, все это очень скучно, что я рассказываю!.. Да, да, я вам надоел… А, черт побери!.. Скверная штука - старость…

Он встал, бросил салфетку на стол.

- Запишите за мной завтрак, папаша Ланглуа!.. - крикнул он ресторатору и, словно подтачиваемый неизлечимым недугом, пошел, уныло волоча ноги.

Влюбленные долго провожали взглядом его высокую фигуру, порой нагибавшуюся, чтобы ее не задели ветви с пожелтевшими листьями.

- Бедный Каудаль!.. Он, правда, здорово сдал… - с непритворным сочувствием прошептала Фанни.

Госсен выразил возмущение тем, что Мария, девчонка, натурщица, посмела надругаться над чувством Каудаля и предпочесть великому скульптору - кого?.. Моратера, бездарного мазилку, у которого есть только одно преимущество - молодость, но Фанни в ответ засмеялась:

- Ах ты, дитя, дитя!..

Она схватила обеими руками его голову, положила к себе на колени и прильнула губами к его глазам, волосам, как бы втягивая, как бы вдыхая его особенный запах, словно это был букет цветов.

В тот вечер Жан впервые остался ночевать у своей возлюбленной, хотя она приставала к нему с этим уже три месяца:

- Ну почему ты не хочешь?

- Не знаю… Я стесняюсь.

- Да тебе же говорят, что я свободна, что я одна!..

Сегодня сказалась усталость после поездки за город, и Фанни удалось затащить его на улицу Аркад, благо это было недалеко от вокзала. На антресолях мещанского дома - с виду почтенного и богатого - старая служанка в крестьянском чепце отворила им с угрюмым видом дверь.

- Это Машом… Здравствуй, Машом!.. - сказала Фанни и прыгнула ей на шею. - А это мой любимый, мой повелитель… Я его привела… Поскорей зажги все, что только можно, сделай так, чтобы в доме было красиво…

Жан остался один в маленькой гостиной с низкими сводчатыми окнами, на которых висели банальные занавески такого же синего шелку, что и чехлы на диванах и прочей мебели из лакированного дерева. На стенах три-четыре пейзажа оживляли обои и вливали в гостиную свежую струю. На всех картинах были дарственные надписи: “Фанни Легран…”, “Дорогой Фанни…”.

На камине - мраморная, в половину человеческого роста, статуя Сафо работы Каудаля; ее отливки из бронзы были очень распространены - один из таких отливков Госсен еще в раннем детстве видел в кабинете у отца. При свете единственной свечи, стоявшей у подножия статуи, он уловил сходство Сафо с его возлюбленной, сходство, при котором натура выступала облагороженной и как бы помолодевшей. Профиль, линия стана под драпировкой, ниспадающая округлость рук, переплетенных вокруг коленей, - все это было ему близко знакомо. Восхищение искусством ваятеля сливалось с воспоминаниями об ощущениях интимных.

Фанни, застав его за созерцанием мрамора, непринужденно заговорила:

- Есть в ней что-то мое, правда?.. Натурщица Каудаля была похожа на меня…

И сейчас же увела Госсена в свою комнату - там Машом с недовольным видом уже расставляла на круглом столике два прибора. Были зажжены подсвечники, зажжены бра у зеркального шкафа, в камине, за экраном, пылал яркий огонь, веселый, как первый огонь на земле, - казалось, будто здесь дама собирается на бал.

- Мне хотелось поужинать в моей комнате… - сказала со смехом Фанни. - Так мы скорей будем в постели.

Жан никогда еще не видел такого кокетливого убранства. Обитая штофом спальня Людовика XVI, обитые светлым муслином спальни его матери и сестер ничем не напоминали это устланное пухом теплое гнездышко, где панель прикрывал мягкий атлас, где кровать заменял один из диванов, более широкий, стоявший в глубине на разостланной белой шкуре.

Эта ласка света, тепла, голубых бликов, удлинявшихся в граненых зеркалах, была особенно приятна после ходьбы по полям, по грязи

проселочных дорог, под проливным дождем, на закате дня. Единственно, что мешало Госсену с провинциальным смаком наслаждаться комфортом, каким было обставлено их свидание, это угрюмость служанки, ее взгляд, устремленный на него, до того подозрительный, что Фанни наконец не выдержала и мигом услала ее:

- Оставь нас, Машом… Мы сами за собой поухаживаем…

Крестьянка хлопнула дверью.

- Не обращай внимания, - сказала Фанни. - Она ревнует меня к тебе… Говорит, что я себя гублю… Эти деревенские такой цепкий народ!.. Но готовит она превосходно, из-за одного этого стоит ее держать… Вот попробуй паштет из зайца!

Она резала паштет, откупоривала бутылку с шампанским, ухаживала за ним и забывала о себе, и при каждом ее движении поднимались до плеч рукава алжирской гандуры из мягкой белой шерсти, - она всегда носила ее дома. Сейчас, в гандуре, она напоминала ему ту Фанни, которую он встретил на бале-маскараде у Дешелета. Сидя в одном кресле, плотно прижавшись друг к другу, они ели с одной тарелки и говорили об этом вечере.

- Я с первого взгляда почувствовала к тебе влечение!.. - призналась она. - Мне хотелось схватить тебя за руку и сейчас же увести, чтобы на тебя не посягнули другие… А что подумал ты, когда меня увидел?..

Сначала он боялся ее, а потом страх сменился полным доверием и неожиданным ощущением близости.

- И ведь я же тебя ни о чем не спрашивал… - добавил он. - За что ты на меня рассердилась? За две строчки из Ла Гурнери?..

Она сдвинула брови точно так же, как тогда, на балу, затем тряхнула головой:

- Пустяки!.. Не будем больше об этом говорить… - И обвила ему шею руками. - Я ведь тоже поначалу побаивалась тебя… Я пыталась спрятаться от тебя, вовремя отступить… Но у меня не хватило сил, и теперь уже не хватит до конца жизни…

- Ну уж до конца жизни!

- Вот увидишь.

Он ответил ей улыбкой, скептической в меру своего возраста, и пропустил мимо ушей страстно, почти угрожающе звучавшие слова: “Вот увидишь…” Но обнимала она его так кротко, так покорно! Госсен был твердо уверен, что из такого объятия он может высвободиться одним рывком…

А для чего, собственно, высвобождаться? Ему было так хорошо в этой дышавшей негою комнате, сладко дурманило ласковое дыхание его возлюбленной, которое он ощущал на слипавшихся глазах, а перед глазами все еще летучими видениями мелькали ржавые леса, луга, мельничные жернова под струей зерна, весь нынешний проведенный на лоне природы, наполненный любовью день.

Утром его разбудил голос Машом, - она, не стесняясь, кричала, стоя у самой кровати:

- Он пришел!.. Ему нужно с вами поговорить!..

- То есть как поговорить?.. Меня же нет дома!.. Зачем ты его впустила?..

Не помня себя от бешенства, Фанни вскочила с постели и, полураздетая, в расстегнутом капоте, выбежала из комнаты, успев сказать Госсену:

- Лежи, лежи, дружочек!.. Я сейчас…

Но он не стал ее дожидаться и почувствовал себя уверенно, только когда поднялся, оделся и сунул в ботинки свои сильные ноги.

Собирая вещи, разбросанные по всей этой темной комнате, в которой ночничок освещал остатки холодного ужина, он прислушивался к заглушаемому обоями гостиной крупному разговору. Мужской голос, вначале злобный, потом умоляющий, раскаты которого перешли в рыдания, в слезливую расслабленность, сменялся другим, и Жан узнал его не сразу: грубый, хриплый, он звучал ненавистью и произносил мерзкие слова, какими осыпают друг друга девицы в пивных.

Слова оскверняли ту любовную роскошь, с какой была обставлена эта комната, забрызгивали грязью ее чистый шелк. И сама женщина тоже запачкалась, стала в его глазах на одну доску с теми, к которым он всегда относился с презрением.

Фанни вошла, тяжело дыша, красивым жестом подбирая распущенные волосы.

- Что может быть глупее плачущего мужчины?.. - воскликнула она, но, увидев, что он стоит одетый, в исступлении крикнула: - Ты встал?.. Ложись!.. Сейчас же ложись!.. Я тебе приказываю!..

Затем она так же внезапно смягчилась и, притягивая его к себе и рукою и звуком голоса, проговорила:

- Нет, нет!.. Не уходи!.. Я не могу тебя так отпустить!.. Во-первых, я убеждена, что ты ко мне не вернешься…

- Конечно, вернусь… Что это тебе пришло в голову?..

- Поклянись, что ты на меня не рассердился, что ты вернешься… Я же тебя знаю!

Он дал слово, но в постель так и не лег, несмотря на ее мольбы и настойчивые уверения, что она у себя дома, что она свободна и никому отчетом в своих поступках не обязана. В конце концов она, видимо, примирилась с тем, что ему нужно идти, проводила его до дверей, и сейчас в ней уже ничего не осталось от разъяренной менады, напротив, вид у нее был приниженный и виноватый.

Долгий и проникновенный прощальный поцелуй задержал их в передней.

- Ну так… когда же?.. - спросила она, стараясь заглянуть в самую глубину его глаз.

Он хотел было что-то ответить, конечно, солгать, лишь бы скорее уйти, но тут вдруг раздался звонок. Из кухни вышла Машом, но Фанни знаком остановила ее:

- Не надо!.. Не отворяй!..

И они, все трое, стояли молча, не шевелясь.

Послышался приглушенный вздох, затем шорох подсовываемого под дверь письма и медленно удаляющиеся шаги.

- Я же тебе говорила, что я свободна!.. На, прочти!..

Фанни передала своему возлюбленному только что распечатанное ею письмо, жалкое любовное послание, недостойное, малодушное, нацарапанное карандашом за столиком в кафе, письмо, в котором несчастный просил прощения за недавнюю дикую выходку, признавал, что у него нет на нее никаких прав, кроме того, которое она сама соизволит ему предоставить, на коленях молил не прогонять его, обещал принять все условия, покориться во всем… только бы не потерять ее навсегда! Господи, только бы не потерять ее!..

- Убедился?.. - спросила она с недобрым смехом, и этот смех преградил ей дорогу к его сердцу. Госсен мысленно упрекнул ее в бесчеловечности. Он не знал, что в душе любящей женщины есть место только для любимого человека, что все живущие в ней силы милосердия, доброты, отзывчивости, самоотвержения поглощает кто-нибудь один, единственное существо на земле.

- Зачем ты над ним издеваешься?.. Он написал тебе такое пламенное, душераздирающее письмо!.. - сказал Госсен и, протянув к ней руки, тихо и совершенно серьезно спросил: - Послушай, за что ты его прогоняешь?..

- Он мне не нужен… Я его не люблю.

- Но ведь он же твой любовник!.. Он окружил тебя всей этой роскошью, в которой ты живешь, в которой ты жила и раньше, без которой ты не можешь обойтись.

- Дружочек! - начала она знакомым ему задушевным тоном. - До тебя мне все здесь очень нравилось… А теперь я от всего этого устала, мне стыдно, меня тошнит… О, я знаю, что ты скажешь: ты - это несерьезно, ты меня не любишь… Но это уж мое дело… Хочешь не хочешь, а ты меня полюбишь.

Он ничего ей не ответил, назначил свидание на завтра и, сунув Машом в награду за паштет из зайца несколько луидоров, составлявших содержимое его студенческого кошелька, поспешил удалиться. Для него все здесь было кончено… Какое он имеет право нарушать привычный уклад жизни этой женщины и что может он предложить ей взамен того, что она из-за него потеряет?

Обо всем этом он написал ей в тот же день по возможности мягко, по возможности чистосердечно, не сознаваясь, однако, в том, что порвать с нею связь, отказаться от мимолетной и отрадной причуды его мгновенно заставило то бездушное, то нечистоплотное, чему он явился свидетелем: едва лишь минула ночь любви, как за стеной послышались рыдания обманутого любовника, а она в ответ хохотала и ругалась, как прачка.

В этом юнце, выросшем вдали от Парижа, в провансальской глуши, было что-то от отцовской жесткости, уживавшейся с крайней деликатностью, с крайней душевной восприимчивостью матери, и внешне он был ее живым портретом. Пример дяди Жана со стороны отца также долженствовал уберечь его от пагубных увлечений: беспорядочная жизнь и чудачества дядюшки почти разорили всю семью и чуть было не погубили ее честь.

Дядя Сезер! Достаточно было назвать Жану это имя и вызвать в его памяти семейную драму, и Жан пожертвовал бы и чем-либо несравненно более ему дорогим, нежели маленький роман с Фанни, которому он с самого начала не придавал никакого значения. Однако расстаться с ней оказалось совсем не так просто.

Получив формальную отставку, она все же вновь появилась на его горизонте, - ее не обескуражили ни его нежелание с ней встречаться, ни запертая дверь, ни неумолимые ответы. “У меня совсем нет самолюбия…” - писала она ему. Она подстерегала его на пути в ресторан, ждала его у кафе, где он читал газеты. И при всем том ни одной слезы, ни единого укора. Если он был в компании, она довольствовалась тем, что шла за ним следом до тех пор, пока он не расставался со спутниками.

- Хочешь, проведем вместе вечер?.. Нет?.. Ну, хорошо, как-нибудь в другой раз.

И она уходила с покорной грустью фокусника, у которого фокус не

удался, а Госсен упрекал себя в черствости и испытывал унизительное чувство оттого, что каждый раз лепетал ей неправду: экзамены на носу… совсем нет свободного времени… как-нибудь потом, если только она в состоянии ждать… На самом деле он рассчитывал, сдав экзамены, отдохнуть месяц на юге - авось она его за это время забудет.

К несчастью, после экзаменов Жан заболел. Прохаживаясь по коридорам министерства, он подхватил ангину, сначала не обратил на нее внимания - и разболелся не на шутку. В Париже он никого не знал, за исключением нескольких студентов, своих земляков, но и тех отдалила и рассеяла поглощавшая его страсть. Впрочем, теперь он нуждался в совершенно особой преданности, вот почему в первый же вечер у его кровати оказалась Фанни Легран, а затем в течение десяти суток она, ловкая, как опытная сиделка, не отходила от него ни на шаг, ухаживала за ним, не ощущая ни усталости, ни брезгливости, и осыпала нежными ласками, которые в часы сильного жара отбрасывали его к поре тяжелого заболевания, перенесенного им в детстве, заставляли его звать “тетю Дивонну” и говорить: “Спасибо, Дивонна!” - когда рука Фанни касалась его влажного лба.

- Это не Дивонна… Это я… Я - с тобой…

Она избавляла его от платных забот, от прижиганий, сделанных неловкими руками, от полосканий, приготовляемых в швейцарской, и Жан выздоровел благодаря ее расторопности, изобретательности, благодаря проворству ее осторожных и сладострастных рук. Спала она - не более двух часов - на диване, на студенческом диване, мягком, как тюремные нары.

- Милая Фанни! Что же ты не съездишь домой?.. - спросил он однажды. - Мне лучше… А то Машом, наверно, беспокоится.

Фанни засмеялась… Уплыла от нее Машом, и весь дом уплыл. Все продано - обстановка, носильные вещи, все, вплоть до постельных принадлежностей. Осталось только платье, то, что на ней, и немного дорогого белья, которое удалось припрятать ее служанке… Так что если он теперь ее выгонит, то она на улице.

III

- На сей раз я, кажется, нашла то, что нужно… На Амстердамской, напротив вокзала… Три комнаты с большим балконом… Если хочешь, съездим посмотрим после твоей службы… Это высоко, на шестом этаже… Но ты внесешь меня на руках. Помнишь? Как тогда было хорошо!..

Оживившись от воспоминания, она терлась об его шею то одной щекой, то другой, старалась занять прежнее место в его жизни, когда-то ею завоеванное.

В меблированных комнатах, где царили нравы студенческого квартала, с беспрестанным хождением по лестнице девиц в сетках на голове и в стоптанных туфлях, в комнатах с фанерными перегородками, за которыми шла своя жизнь, со скопищем ключей, подсвечников, башмаков, жизнь вдвоем становилась невыносимой. Разумеется, не для нее. С Жаном она была бы рада ютиться на крыше, в подвале, хоть в водосточной трубе. Но щепетильность Жана пугалась соприкосновений с действительностью, о которых он, будучи холостяком, и не помышлял. Брачные союзы на одну ночь стесняли его, бросали тень на его союз с Фанни, вызывали у него почти такое же горькое и брезгливое чувство, какое он обыкновенно испытывал, стоя в зоологическом саду перед клеткой с обезьянами, передразнивавшими движения и выражения любви человеческой. Надоел ему и ресторан на бульваре Сен-Мишель, куда нужно было ходить два раза в день, надоела обширная зала, битком набитая студентами, учащимися Школы живописи и ваяния, художниками, архитекторами, которые не были с ним знакомы, но которым он за целый год успел примелькаться.

Отворив дверь, он мгновенно краснел, оттого что все взгляды устремлялись на Фанни, и входил, всем своим видом выражая конфузливый вызов, который появляется у молодого человека, когда он идет с женщиной. Кроме того, он опасался встречи с кем-нибудь из министерского начальства или с земляками. Ко всему этому примешивался еще и материальный вопрос.

- Как дорого!.. - сетовала она всякий раз, унося с собой счет за обед. - Если б мы обедали дома, я бы так вела хозяйство, что нам хватило бы этих

денег на три дня.

- А кто нам мешает завести свое хозяйство?..

И они стали искать квартиру.

Вот это и есть ловушка. В нее попадаются самые лучшие, самые порядочные, попадаются из чистоплотности, из стремления к “семейному уюту”, которое порождают домашнее воспитание и тепло домашнего очага.

Квартиру на Амстердамской они сейчас же сняли и пришли от нее в восторг, несмотря на то, что кухня и столовая выходили окнами на промозглый двор, куда из английского кабачка неслись запахи помоев и хлора, а спальня - на шумную гористую улицу, днем и ночью сотрясавшуюся от стука фургонов, ломовых телег, фиакров, омнибусов, вздрагивавшую от свистков приходящих и уходящих поездов, от слитного шума Западного вокзала, как раз напротив раскинувшего свою стеклянную крышу цвета грязной воды. Преимущество состояло в близости железной дороги, в том, что Сен-Клу, Вилль-д’Авре, Сен-Жермен - все эти зеленые станции на берегах Сены находились словно под их балконом. А балкон у них был поместительный и удобный, сохранивший от размаха прежних жильцов оцинкованный навес, выкрашенный под полосатый тик, - балкон унылый, протекавший в пору неумолчно стучавших по навесу зимних дождей, но где было очень приятно обедать летом - на свежем воздухе, точно в домике где-нибудь среди швейцарских гор.

Квартиру надо было обставить. Жан отчасти посвятил в свои планы родных, и тетя Дивонна, которая исполняла у них в семье обязанности домоправительницы, прислала ему денег, а в письме извещала, что в скором времени прибудут шкаф, комод и большое плетеное кресло, стоявшее до сих пор в так называемой Комнате Ветров.

Эту дальнюю комнату в его родном доме, в Кастле, он представлял себе ясно: испокон веков нежилая, с запертыми на задвижки ставнями, с запертою на засов дверью, по своему положению она была не защищена от порывов мистраля и потрескивала, как трещат стены жилого помещения на маяке. Там складывалось разное старье, все, что вытеснялось новыми приобретениями, которые делало каждое новое поколение.

Ах, если бы Дивонна знала, кто будет отдыхать в плетеном кресле, если б она знала, что в ящиках ампирного комода будут лежать шелковые нижние юбки и кружевные панталоны!.. Но мучившие Госсена угрызения совести потонули во множестве мелких радостей, связанных с новосельем.

Как приятно было в сумерках, после занятий в канцелярии министерства, взяв Фанни под руку, предпринимать походы на окраину, чтобы выбрать обстановку для столовой: буфет, стол и шесть стульев, или же кретоновые занавески с разводами для окна и для полога! Он готов был купить что попало, но Фанни смотрела в оба, пробовала стулья, проверяла, хорошо ли раздвигается стол, умело торговалась.

Она знала, где можно купить по фабричной цене полный набор кухонной утвари для небольшой семьи: четыре железные кастрюли и одну эмалированную для варки шоколада по утрам, но только ничего медного - медную посуду долго чистить; шесть металлических приборов, разливательную ложку и две дюжины тарелок английского фаянса, прочного и веселого. Все это сосчитано, заранее приготовлено и тщательно упаковано, как упаковывают игрушечную посуду. Она знала торговца, представителя крупной фабрики в Рубе, у которого можно было приобрести в рассрочку простыни, салфетки, скатерти, полотенца. Зорко следившая за тем, что выставлялось на витринах, не упускавшая ни одной распродажи обломков крушения, которые Париж вместе с пеной выбрасывает на свои берега, она купила по случаю на бульваре Клиши превосходную, почти совсем новую кровать такой ширины, что на ней можно было уложить в ряд семь дочерей людоеда.

Госсен тоже после службы пытался делать приобретения, но он ничего в этом не смыслил, не умел отказываться, не умел уходить с пустыми руками. Придя в магазин случайных вещей купить подержанный судок, за которым его послала Фанни, он вместо уже проданного судка принес люстру с подвесками, для гостиной, ни на что им не нужную, так как гостиной у них не было.

- Мы ее повесим на балконе… - в утешение ему сказала Фанни.

А какую радость им доставляло производить обмер, спорить из-за того, куда что поставить! А как они шумели, как они дико хохотали, как всплескивали, чуть не до потолка, руками, когда оказывалось, что,

несмотря на всю их предусмотрительность, несмотря на то, что у них был составлен полный список необходимых закупок, что-нибудь да они забывали!

Ну вот, например, щипцы для сахара. Как можно обойтись в хозяйстве без щипцов для сахара?..

Но вот все уже куплено, расставлено по местам, занавески развешаны, настольная новенькая лампа заправлена - какой чудный вечер провели они на новоселье, как внимательно осмотрели все три комнаты, прежде чем лечь спать, и как весело смеялась Фанни, когда Жан запирал дверь, а она ему светила:

- Еще раз поверни, еще… Получше запри… Чтобы нам было уютнее!..

Так началась для них новая, упоительная жизнь. После службы он летел домой, мечтая поскорей переобуться и подсесть к камину. В черной уличной слякоти он представлял себе их ярко освещенную теплую комнату, которую оживляла старая провинциальная мебель, - Фанни заочно окрестила ее хламом, а это оказались прелестные старинные вещи, особенно - изящной работы шкаф в стиле Людовика XVI с рисунками, изображавшими провансальские праздники, пастушков в ярких полукафтанах, танцы под свирели и тамбурины. Эти старомодные вещи, к которым Жан привык еще в детстве, напоминали ему отчий дом и освящали его новое жилище, уютом которого он наслаждался.

Едва заслышав его звонок, Фанни, чистенькая, кокетливая, выбегала, как она выражалась, “на палубу”. На ней было черное шерстяное платье, готовое, но отлично на ней сидевшее, платье женщины, одевающейся скромно, но со вкусом; рукава она засучивала, а сверху надевала широкий белый передник: готовила она сама, прислуга делала только черную работу, от которой трескаются и грубеют руки.

Фанни была отличная стряпуха, знала уйму рецептов северных и южных блюд и так же умела разнообразить меню, как репертуар народных песен, которые она после обеда, повесив передник на кухонную дверь, а дверь притворив, напевала своим надтреснутым страстным контральто.

Внизу текла и гремела улица. Холодный дождь стучал по оцинкованному навесу балкона. Госсен, развалившись в кресле и протянув

ноги поближе к огню, видел перед собой окна вокзала, а в окнах - фигуры служащих, склонившихся над столами и писавших при матовом свете ламп с большими рефлекторами.

Ему было хорошо; ему было приятно качаться в кресле. Что же, он был влюблен? Нет. Он был благодарен за ласку, которой его окружали, за всегда ровную нежность. Как он мог так долго лишать себя этого блаженства из боязни, которая теперь казалась ему смешной: из боязни опуститься, связать себя? Разве теперь его жизнь не стала чище, чем когда он, рискуя заразиться, заводил одну случайную связь за другой?

И в будущем он не видел никакой для себя опасности. Через три года он уедет, и разрыв произойдет сам собой, без всяких потрясений. Фанни предупреждена. Они об этом говорили, как говорят о смерти, о далекой, но неотвратимой неизбежности. Смущало Госсена только одно: как огорчатся близкие, когда узнают, что он живет не один, как возмутится его непримиримый и вспыльчивый отец.

А впрочем, откуда они узнают? Жан ни с кем не встречается в Париже. Отца, “консула”, как его называли, круглый год удерживали в Кастле надзор за крупным имением, из которого он старался извлечь побольше дохода, и упорная борьба за спасение виноградников. Больная мать без посторонней помощи не могла двинуться, ступить шагу, а потому хозяйство вела Дивонна, и она же воспитывала двух его сестренок-близнецов Марту и Марию; тяжелые эти роды, эта неожиданная двойня поглотили жизненные силы роженицы. Что касается дяди Сезера, мужа Дивонны, то это был большой ребенок, и родные ни за что не отпустили бы его одного.

Фанни знала теперь всю семью Жана. Когда Жан читал присланное из Кастле письмо с детскими каракулями в конце, она заглядывала через его плечо и умилялась вместе с ним. А об ее жизни он ничего не знал и не расспрашивал ее. В нем говорил бессознательный, благородный эгоизм молодости, не знающий ревности, не знающий никаких опасений. Занятый только собой, он не мешал своей жизни бить ключом, размышлял вслух, изливал душу, а Фанни между тем безмолвствовала.

Так шли дни, шли недели, и блаженное их спокойствие только однажды нарушило одно обстоятельство, взволновавшее их обоих, но по-разному.

Она почувствовала себя беременной и с такой радостью сообщила об этом Жану, что ему оставалось только разделить ее. В глубине души он струсил. Стать отцом, когда он еще так молод!.. И как ему следует поступить?.. Должен ли он усыновить ребенка?.. Какая это связа, как это усложнит его жизнь!

Перед его глазами внезапно вырисовалась цепь, тяжелая, холодная, нерасторжимая. Ночью оба не спали. С открытыми глазами лежали они рядом в большой постели, лежали и думали, и были они в это время за тысячу миль друг от друга.

К счастью для Жана, тревога оказалась ложной, и вновь потекла их мирная жизнь, очаровательная в своей замкнутости. А там и зима прошла, вернулось наконец настоящее солнце, их жилье еще похорошело, увеличившись за счет крытого балкона. Там они обедали и смотрели на отливавшее зеленью небо, прорезаемое пронзительным визгом ласточек.

Улица пышала жаром и доносила до них весь шум из соседних домов, но зато ветер дарил им малейшее свое дуновение, и они могли сидеть здесь бесконечно долго, прижимаясь друг к другу коленями и ничего не видя вокруг. Жан вспоминал такие же теплые вечера на берегу Роны или мечтал о том, как он будет служить консулом в дальней жаркой стране, представлял себе, как он едет туда на корабле и как навес над палубой колышется от глубокого дыхания морского ветра. И когда у самых его губ слышался шепот незримой ласки: “Ты меня любишь?..” - ему, чтобы ответить: “Очень люблю!..” - приходилось возвращаться издалека. Вот что значит связать свою судьбу с молодым - у молодых чем только не набита голова!

На том же балконе, за железной решеткой, увитой ползучими растениями, ворковала другая парочка - г-н и г-жа Эттема, муж и жена, толстяк и толстуха, их поцелуи раздавались громко, как пощечины. Они удивительно подходили друг к другу и по возрасту, и по вкусам, и по комплекции. Трогательное впечатление производили эти влюбленные уже далеко не первой молодости, когда они, опершись на балюстраду, тихо пели дуэтом какой-нибудь старинный душещипательный романс:

Я слышу, как она в тиши ночной вздыхает…

О дивный, сладкий сон, приснись еще хоть раз!

Фанни эти люди нравились, она не прочь была с ними познакомиться. Уже несколько раз она и соседка, свесившись над почерневшими балконными перилами, обменивались улыбкой влюбленных и счастливых женщин. Но мужчины, как всегда, оказались не столь общительны, и знакомство все не завязывалось.

Однажды перед вечером Жан возвращался с набережной Орсе и вдруг на углу Королевской услыхал, что кто-то его окликает. День стоял чудесный; в час прогулки в Булонский лес, когда роскошный закат теплым светом заливает нежащийся Париж, этот поворот бульвара ни с чем не может сравниться по красоте.

- Прекрасная молодость! Идите сюда и чего-нибудь выпейте… Мне доставляет удовольствие на вас смотреть.

Жана обхватили ручищи человека, который сидел под навесом кафе, выдвинувшего на тротуар три ряда столиков. Жан не сопротивлялся - ему лестно было слышать, как вокруг него провинциалы и иностранцы, в полосатых костюмах и круглых шляпах, с любопытством шепчут имя Каудаля.

Скульптор пил абсент, что очень шло к его военной выправке и офицерской орденской ленточке, а напротив сидел приехавший накануне инженер Дешелет, все такой же загорелый, моложавый, скуластый, с добрыми глазками, которые на его худом лице казались не такими маленькими, с ноздрями гурмана, которые словно вынюхивали, чем пахнет в Париже. Как только молодой человек сел за столик, Каудаль с комической яростью показал на него:

- До чего красив этот зверь!.. Подумать только, что ведь и мне когда-то было столько же лет и волосы у меня вились точно так же… Ах, молодость, молодость!..

- Все та же песня? - спросил Дешелет, добродушно посмеиваясь над

помешательством друга.

- Не смейтесь, мой дорогой… Все, что у меня есть - медали, кресты, звание академика, и то и се, и пятое и десятое, - я променял бы вот на эти волосы и румянец… - Тут он со свойственной ему резкостью движений потянулся к Госсену. - А что вы сделали с Сафо?.. Ее что-то не видно.

Глаза у Жана стали круглыми от изумления.

- Вы уже с ней не живете?..

Видя растерянность Госсена, Каудаль уже нетерпеливо прибавил:

- Ну, Сафо, Сафо!.. Фанни Легран… Вилль-д’Авре…

- О, с ней у меня давно все кончено!..

Зачем он солгал? От стыда, из чувства неловкости, которое вызывало у него прозвище “Сафо” и которое мешало ему говорить о своей возлюбленной с мужчинами, а, быть может, еще из желания узнать о ней такие подробности, которые иначе никто бы ему не сообщил.

- А, Сафо!.. Так она, еще, значит, блистает? - рассеянно спросил Дешелет, счастливый тем, что он снова видит лестницу Мадлен, цветочный рынок и длинный ряд бульварных аллей, сквозивших между зеленью деревьев.

- А разве вы не помните, как хороша она была у вас в прошлом году?.. Ей изумительно шло одеяние феллашки… Осенью я ее встретил: она завтракала с этим красивым юношей у Ланглуа; вы бы сказали: это новобрачная.

- Сколько же ей лет?.. Знаем мы ее давно…

Каудаль задумчиво поднял голову:

- Сколько лет?.. Сколько лет?.. Погодите… В пятьдесят третьем, когда она мне позировала, ей было семнадцать… А сейчас семьдесят третий. Вот и считайте.

Внезапно глаза у него загорелись.

- Ах, если б вы ее видели двадцать лет назад!.. Высокая, стройная, красиво очерченный рот, твердая линия лба… Руки, плечи еще худоваты, но это как раз подходит к Сафо… А какая женщина, какая любовница!.. Какое наслаждение доставляло ее тело, какой яркий огонь можно было высечь из этого кремня, что это была за клавиатура - ни единой западающей клавиши!.. “Все звуки лиры”, - писал о ней Ла Гурнери.

Жан, сильно побледнев, спросил:

- Как, разве он тоже был ее любовником?..

- Кто, Ла Гурнери?.. Еще бы! Сколько я из-за этого перестрадал!.. Четыре года мы с ней жили, как муж и жена, четыре года я ее лелеял, не жалел денег на ее прихоти… Учитель пения, учитель музыки, учитель верховой езды - каких только не было у нее причуд!.. Я подобрал ее на улице, ночью, около Рагаша, где шла танцулька, и вот когда я ее обточил, отгранил, отшлифовал, как драгоценный камень, фатоватый рифмач, которого я считал своим другом, который каждое воскресенье у меня обедал, сманил ее!

Он шумно вздохнул, словно для того, чтобы выдохнуть застарелую обиду отверженного любовника, все еще дрожавшую в его голосе, затем, уже более спокойным тоном, продолжал:

- Судьба его все же наказала за подлость… Прожили они вместе три года, и это была не жизнь, а сущий ад. Этот сладкопевец оказался на поверку скрягой, злюкой, маньяком. Если б вы видели, как они дрались!.. Когда вы к ним приходили, она вас встречала с повязанным глазом, он - с исцарапанным лицом… Но это были еще цветочки, ягодки пошли, когда он задумал бросить ее. Она впилась в него, как клещ, ходила за ним по пятам, взламывала дверь его квартиры, ждала его, лежа поперек его тюфяка. Как-то раз, зимой, он со всей своей оравой кутил у Фарси, а она пять часов простояла внизу… Ну как тут не сжалиться?.. Но элегический поэт был неумолим и в один прекрасный день, чтобы избавиться от нее, вызвал полицию. Что, хорош гусь?.. А в заключение романа, в благодарность за то, что эта красивая девушка отдала ему лучшие годы жизни, тонкость своего ума и прелесть тела, он обрушил на нее том дышащих злобой, брызжущих

ядовитой слюной, упрекающих, проклинающих стихов - “Книгу о любви”, лучшую свою книгу…

Госсен сидел неподвижно, выгнув спину, и по капельке втягивал в себя через длинную соломинку холодный напиток. Ему, наверное, налили яду; внутри у него все заледенело.

Стояла теплынь, а Госсена бил озноб; его остановившиеся глаза смотрели в тускнеющую даль - там беспрерывно мелькали тени, у бульвара Мадлен стояла поливочная бочка, друг другу навстречу по влажной земле, точно по вате, бесшумно катились экипажи. Париж онемел для Госсена - Госсен слышал только то, что говорилось за столиком. Сейчас, подливая яду, говорил Дешелет:

- Какая ужасная вещь - разрыв!..

Его обычно спокойный, насмешливый голос звучал мягко, звучал безграничной жалостью…

- Люди прожили вместе несколько лет, спали рядом, сплетались мечтами, сплетались телами. Все говорили, все отдавали друг другу. Переняли друг у друга привычки, манеру держаться, манеру говорить, стали даже похожи лицом. Сжились друг с другом… Действительно, спутались… И вдруг люди расстаются, отрываются друг от друга… Как они на это идут? Как у них хватает мужества?.. Я бы не мог… Да пусть женщина меня обманет, оскорбит, опозорит, запачкает, но если она со слезами скажет мне: “Останься!..” - я не уйду… Вот почему я всегда беру любовницу только на одну ночь… “Никаких завтра”, как говаривали у нас в старину… Или женись. Это уже бесповоротно и гораздо более опрятно.

- “Никаких завтра”… “никаких завтра”… Легко сказать! Есть женщины, на которых больше одной ночи незачем и тратить… Но она…

- Я и ей не предоставил ни одной льготной минуты… - сказал Дешелет с добродушной улыбкой, которая несчастному любовнику показалась, однако, отвратительной.

- Значит, вы не ее любимый тип, а раз этого нет… Кого эта девушка полюбит, в того она вцепляется… Она домовита… Ей просто не везет. Сошлась с романистом Дежуа - он умер… Перешла к Эдзано - он

женился… Затем появился бывший натурщик, гравер, красавец Фламан, - она ведь неравнодушна к таланту и к красоте, - но вы, конечно, знаете эту ужасную историю…

- Какую историю?.. - сдавленным голосом спросил Госсен и, потягивая через соломинку напиток, стал слушать любовную драму, несколько лет назад взбудоражившую Париж.

Гравер был беден, сходил с ума от любви к Сафо. Боясь, что она его бросит, Фламан, чтобы окружить ее роскошью, занялся подделкой кредитных билетов. Попался он очень скоро, и его арестовали вместе с любовницей; ему дали десять лет тюремного заключения, а ее полгода продержали в Сен-Лазар, затем она была оправдана по суду, и ее выпустили на свободу.

Каудаль напомнил Дешелету, который в свое время следил за процессом, как ей шла шапочка заключенной в Сен-Лазар, как твердо, как вызывающе она себя держала на суде, - она до конца осталась верной своему возлюбленному… А ее ответ старому дураку - председателю суда, а воздушный поцелуй, который она послала Фламану поверх жандармских треуголок, а ее голос, от которого дрогнули бы и камни: “Не горюй, дружочек!.. Счастье нам еще улыбнется, мы с тобой еще поживем!..” Как бы то ни было, это злоключение отбило у бедной девушки охоту к совместной жизни.

- Потом у нее появились богатые любовники, но она меняла их каждый месяц, а то и каждую неделю, и уже ни один из них не принадлежал к миру искусств… Мира искусств она стала с тех пор опасаться… По-моему, она только меня и навещала по старой памяти… Изредка забегала ко мне в мастерскую выкурить папиросу. Потом несколько месяцев о ней не было ни слуху ни духу, и вдруг как-то раз смотрю: завтракает вот с этим красавчиком и вкладывает ему в рот виноградинки. “Ну, - думаю, - опять попалась моя Сафо!”

Жан больше не мог слушать. Его не покидало ощущение, будто его отравили и он умирает. Уже не лед был у него в груди, но огонь, и огонь поднимался к голове, а в голове гудело, - казалось, она вот сейчас треснет, как раскаленный добела лист железа. Переходя через дорогу, он несколько раз рисковал угодить под колеса экипажей. Кучера бранились… И чего они

из себя выходят, эти болваны?..

Проходя по рынку Мадлен, он был взволнован запахом гелиотропа - это был любимый цветок Фанни. Чтобы поскорей уйти от этого запаха, он прибавил шагу и, разъяренный, с разбитым сердцем, думал вслух:

- Так вот какова моя любовница!.. Красивая стерва… Сафо, Сафо!.. Как я мог целый год жить с тобой!..

Он в бешенстве повторял ее прозвище и наконец вспомнил, что встречал его наряду с кличками других девиц в разных газетенках, в смехотворном “Готском альманахе” любовных похождений: Сафо, Кора, Каро, Фрина, Жанна из Пуатье, Тюлень…

Вместе с четырьмя буквами мерзкого прозвища перед его глазами с быстротою стока нечистот промелькнула вся жизнь этой женщины… Мастерская Каудаля, драки с Ла Гурнери, ночные караулы возле притонов или на тюфяке у поэта… Затем красавец гравер, фальшивомонетничество, суд… Шапочка заключенной, которая так ей шла, и воздушный поцелуй фальшивомонетчику: “Не горюй, дружочек!..” “Дружочек”! Это ласковое название она дала и ему… Какой позор!.. Нет, шалишь, он смахнет всю эту грязь!.. И в довершение всего неотвязный запах гелиотропа, преследовавший его в этот сумеречный час, такой же бледно-лиловый, как и этот цветок!..

Вдруг Госсен заметил, что он все еще бродит по рынку, точно это был не рынок, а палуба корабля. Он ускорил шаг и духом домчался до Амстердамской, твердо решив, что он выгонит эту женщину, без всяких объяснений выбросит ее на улицу, выплюнет ей вслед ее постыдную кличку. Но недалеко от дома он заколебался, призадумался, потом сделал еще несколько шагов вперед… Она начнет кричать, рыдать, расплещет по всему дому уличный свой жаргон, как это случилось там, на улице Аркад.

А не написать ли ей?.. Правильно! Лучше написать, разделаться с ней в нескольких резких словах… Он зашел в английский кабачок, безлюдный и мрачный при свете только-только зажигавшегося газа, присел за грязный столик, напротив единственной посетительницы - девицы, лицо которой напоминало череп, - она жадно ела копченую лососину и ничего не пила. Он спросил себе кружку пива и, не притронувшись к ней, начал писать

письмо. Но слова теснились у него в голове, стремясь вылететь одновременно, а выцветшие и высохшие чернила плохо его слушались.

Он три раза начинал и три раза рвал бумагу в клочки, наконец, так ничего и не написав, направился к выходу, как вдруг девица с пухлыми, чувственными губами робко спросила:

- Вы не будете пить?.. Можно мне?..

Он утвердительно кивнул головой. Девица набросилась на кружку и осушила ее одним стремительным глотком, свидетельствовавшим о бедственном положении, в каком находилось это обиженное судьбой существо: у нее хватило денег, только чтобы утолить голод, но выпить пива - это было ей уже не по карману. Заговорившее в Госсене чувство жалости усмирило его, внезапно открыло ему глаза на горькую долю женщины. И он стал рассуждать уже более гуманно, он попытался хладнокровно осмыслить свое несчастье.

Прежде всего, Фанни ему не лгала. До сих пор он ничего не знал о ее прошлом только потому, что оно нисколько его не интересовало. В чем он имеет право ее упрекнуть?.. В предварительном заключении в Сен-Лазар?.. Но ведь ее оправдали, чуть не на руках вынесли из залы суда!.. Так в чем же дело! В том, что у нее были мужчины до него?.. А разве он об этом не знал?.. Так из-за чего же он бесится? Из-за того, что ее любовники - люди известные, знаменитые, что он может с ними встретиться, поговорить, полюбоваться их портретами на витринах? Можно ли ставить ей в вину, что она отдавала предпочтение именно им?

И из тайников его существа поднималась низкая, постыдная гордость при мысли, что он делил Фанни с великими художниками, что она им нравилась. В этом возрасте человек никогда не бывает уверен в себе, он ничего еще толком не знает. Он любит женщин, ему доставляет наслаждение любить их, но ему недостает ни наблюдательности, ни опыта. Юный любовник, показывая вам портрет своей возлюбленной, ловит ваш взгляд, ищет одобрения. После того как Госсен узнал, что Сафо воспел Ла Гурнери, что Каудаль увековечил ее в мраморе и в бронзе, она выросла в его глазах, вокруг ее головы засиял нимб.

Внезапно его вновь охватил порыв ярости: сорвавшись с бульварной

скамейки, на которой он сидел и думал под детский крик и разговоры жен рабочих, пыльным июньским вечером пришедших сюда поболтать, он принялся ходить взад и вперед и в гневе рассуждать вслух… Бронзовая фигура Сафо… Ох уж эта бронза, всюду продающаяся за деньги, пошлая, как звуки шарманки, как самое имя “Сафо”, на первоначальную прелесть которого наслоилась вековая грязь легенд, превративших имя богини в символ извращенности!.. Какая мерзость, боже мой!..

Так он ходил долго, то смиряясь, то вновь разъяряясь от этого водоворота мыслей, от столкновения противоречивых чувств. Бульвар становился сумрачным и безлюдным. В теплом воздухе потянуло чем-то приторно-сладким. И Госсен вдруг узнал ворота большого кладбища, куда он год тому назад пришел вместе со всей молодежью, чтобы присутствовать при открытии памятника работы Каудаля на могиле романиста Дежуа, любимца Латинского квартала, автора “Сандеринетты”. Дежуа, Каудаль! Эти имена теперь уже звучали для него совсем по-иному, и вся история курсистки и ее увлечения, после того как он узнал закулисную сторону подобных увлечений, после того как он услышал из уст Дешелета гнусное определение, которое получили эти браки на тротуаре, представлялась ему зловещей и лживой.

Госсен испугался темноты, казавшейся еще чернее от соседства смерти. Он пошел обратно, задевая женские кофточки, бесшумно, словно крылья ночи, проносившиеся мимо него, задевая заношенные юбки, мелькавшие у дверей вертепов, матовые стекла которых прорезали широкие полосы света, и ему, точно в волшебном фонаре, было видно, как ходили, кружили в обнимку парочки… Который теперь час?.. Госсен падал от усталости, как новобранец к концу перехода. Душевную боль приглушала боль в ногах. Скорей бы лечь, уснуть!.. А проснувшись, он холодно, спокойно скажет этой женщине: “Ну вот… Теперь я знаю, кто ты… Мы друг перед другом ни в чем не виноваты, но совместная наша жизнь уже невозможна. Нам надо расстаться…” Чтобы спастись от ее преследований, он поедет на родину, обнимет мать, сестер, и ветер с Роны, вольный, животворный мистраль, сдунет с него всю грязь и всю жуть кошмарного сна.

Устав от ожидания, Фанни спала крепким сном, несмотря на то, что в лицо ей бил свет от лампы; около нее лежала на простыне раскрытая книга. Приход Жана не разбудил ее. Остановившись возле самой кровати, Жан принялся с любопытством рассматривать Фанни, точно чужую,

незнакомую женщину.

Красива, ах, до чего красива! Руки, грудь, плечи - нежно-янтарного цвета, и нигде ни единого пятнышка, ни одной родинки, ни единого рубчика. Но на ее красноватых веках, - быть может, тому виной роман, который она читала, а может быть, тревога ожидания, - в чертах ее лица, обмякших во время сна оттого, что их уже не держала в напряжении несгибаемая воля женщины, которая хочет, чтобы ее любили, разлита такая усталость и такая доверчивость! Ее возраст, вся ее история, ее извороты, причуды, “спутыванья”, Сен-Лазар, побои, слезы, страхи - все это читалось на лице. Все было сейчас на виду: и синие тени, которые оставляют наслаждения и бессонные ночи, и складка пресыщенности, оттягивавшая нижнюю губу, несвежую, потертую, как закраина колодца, откуда весь околоток берет воду, и едва заметные припухлости, из которых потом образуются морщины старости.

Предательство, совершаемое сном, и окутывавшая его мертвая тишина - все это было необычайно, все это было зловеще. Ночное поле битвы со всем его явным ужасом и с тем, который только еще предугадывается в неопределенных колебаниях мрака…

И вдруг бедный мальчик почувствовал, что к горлу его подступают, что его душат слезы.

IV

Они обедали при открытом окне, под долгий визг ласточек, прощавшихся с угасавшим днем. Жан молчал, но готов был в любую минуту заговорить о том тяжелом, что после встречи с Каудалем угнетало его самого и чем он, хотя и молча, мучил Фанни. Заметив, что он не поднимает глаз, что он напустил на себя равнодушие и, по видимости, ни к чему не проявляет интереса, она в конце концов догадалась и предупредила его:

- Послушай! Я знаю, что ты собираешься мне сказать… Пощади нас обоих, прошу тебя!.. Так же никаких сил не хватит… Ведь все умерло, я

никого, кроме тебя, не люблю, ты у меня один на всем свете.

- Если бы прошлое для тебя действительно, как ты выражаешься, умерло…

Он силился заглянуть в самую глубину ее прекрасных глаз зыбкого серого цвета, менявшего оттенки в зависимости от смены впечатлений.

- …ты бы не хранила вещей, которые тебе о нем напоминают… да, да, всего, что там, на верхней полке, в шкафу…

У серых глаз появился черный бархатистый отлив.

- Тебе и это известно?

Значит, ей нужно найти в себе силы, чтобы проститься со всей этой грудой карточек и писем от поклонников, со всем этим блистательным любовным архивом, уцелевшим после стольких разгромов!

- А ты мне потом будешь верить?

Его недоверчивая улыбка раззадорила ее, и она достала покрытую лаком шкатулку, резная оковка которой, выглядывавшая между аккуратно сложенными стопками дамского белья, последнее время сильно занимала ее возлюбленного.

- Делай что хочешь - сожги, порви…

Но Госсен долго не открывал шкатулку, - он занялся рассматриваньем цветущих вишен, сделанных из розового перламутра, и летящих аистов на крышке, - а потом вдруг резким движением повернул ключик, и крышка взлетела. Кажется, здесь были представлены все размеры карточек и все виды почерка. Цветная бумага с золотыми буквами вверху, пожелтевшие от времени записки, потрескавшиеся на сгибах, карандашные каракули на листках из записной книжки и на визитных карточках - во все это, сложенное как попало, в одну кучу, точно в ящике, в котором постоянно роются и перекладывают вещи с места на место, он запустил дрожащие руки…

- Дай мне. Я сожгу на твоих глазах.

Она проговорила это срывающимся от волнения голосом, присев на корточки у камина и поставив на пол зажженную свечку.

- Ну?..

- Нет… Погоди… - сказал он и, словно от стыда понизив голос до шепота, проговорил: - Я хочу прочесть…

- Для чего? Тебе будет еще больнее…

Она думала только о том, что ему будет тяжело, а не о том, что неделикатно выведывать секреты чужих увлечений, тайную исповедь любивших ее. Фанни на коленях подползла к нему и, уголком глаза следя за ним, тоже начала читать.

Вот десять страниц, в 1861 году исписанных неторопливым, вкрадчивым почерком Ла Гурнери; в этом письме к возлюбленной поэт, которого посылали в Алжир для того, чтобы он представил официальный и поэтический отчет о путешествии императора и императрицы, дал блестящее описание празднеств.

Алжир, роившийся, вышедший из берегов, - Багдад “Тысячи и одной ночи”; вся Африка, сбежавшаяся, сгрудившаяся вокруг города, где двери домов хлопали так, словно на город налетел самум… Караван негров и верблюдов, нагруженных каучуком, раскинутые шатры из шерстяной ткани, запах человеческого мускуса над всей этой обезьяньей породой, ночевавшей на берегу моря, по ночам плясавшей вокруг огромных костров и каждое утро расступавшейся, давая дорогу южным царькам, прибывавшим с чисто восточной торжественностью, будто волхвы; нестройная музыка: тростниковые дудки, хриплые барабанчики; военные отряды вокруг трехцветного знамени пророка… А сзади негры вели в поводу коней, предназначавшихся в дар имберадору, - в шелковой сбруе, под расшитыми серебром попонами; от каждого их движения звенели бубенчики и наборы уздечек…

Дар поэта все изображал живо и картинно. Слова сверкали на странице, как драгоценные камни без оправы, которые рассматривают на листе бумаги ювелиры. Женщина, стоявшая сейчас на коленях, имела все основания гордиться тем, что перед ней рассыпали такие сокровища. Значит, поэт и вправду любил ее, раз, несмотря на всю занимательность

торжеств, он думал только о ней и умирал с тоски без нее:

”Я видел во сне, будто я с тобой, на улице Аркад, на большом диване. Ты была раздета, и ты безумствовала, ты стонала от восторга под моими ласками, и вдруг я проснулся: я катаюсь по ковру на террасе, а надо мною звездная ночь. Крик муэдзина с ближнего минарета взлетал яркой, прозрачной ракетой, не столько молитвенной, сколько сладострастной, и я, все еще во власти сна, улавливал в этом крике твой голос…”

Какая недобрая сила толкала Госсена продолжать чтение, невзирая на смертельную ревность, от которой у него побелели губы и дергались руки? Бестревожным, осторожным движением Фанни пыталась взять у него письмо, но он прочитал его до конца, потом другое, потом третье - читал и бросал с пренебрежительным безразличием, с пренебрежительным равнодушием, не глядя на пламя, разгоравшееся в камине от страстных лирических излияний большого поэта. Порой в этом разливе любви, доходившей при африканской температуре до точки кипения, лиризм влюбленного пятнали казарменные сальности, которые, несомненно, изумили бы и ужаснули светских поклонниц “Книги о любви”, проникнутой утонченным спиритуализмом, чистым, как серебряный рог Юнгфрау.

Ах, какая мука! Госсен останавливался именно на этих местах, на этих брызгах грязи, не чувствуя той нервной дрожи, какая всякий раз пробегала по его лицу. У него даже хватило самообладания посмеяться над постскриптумом, следовавшим за ослепительным рассказом о празднестве в Айссауа:

”Я перечел письмо… Кое-что недурно. Сохрани его - оно может мне пригодиться…”

- У этого господина ничего зря не пропадало! - заметил Жан и перешел к другому листку, исписанному тем же самым почерком: тут Ла Гурнери холодным тоном делового человека требовал возвратить ему сборник арабских песен и туфли из рисовой соломы. Это был конец их романа. Да, Ла Гурнери умеет рвать отношения; по всему видно - сильный человек.

Жан без передышки осушал это болото с его теплыми нездоровыми испарениями. Стемнело; Жан поставил свечу на стол, и при этом свете он

пробегал теперь коротенькие неразборчивые записочки, точно нацарапанные шилом, которое держали чьи-то толстые пальцы, от внезапности желания или злобы то и дело протыкавшие и рвавшие бумагу. Начало связи с Каудалем, свидания, ужины, поездки за город, затем ссоры, мольбы о возврате, вопли отчаяния, забористая, непристойная брань пьяного мастерового, неожиданно прерываемая шутками, смешными выражениями, упреками, в которых слышалось рыдание, - словом, здесь было обнажено то крайнее малодушие, которое проявил великий скульптор, когда Фанни порвала с ним, когда она от него ушла.

Огонь, поглотив все это, взметнул длинные багровые струи - это сгорали, потрескивали и дымились плоть, кровь, слезы гениального человека. Но Фанни это не трогало - она не отрываясь смотрела на своего юного возлюбленного, и ей сквозь одежды передавалась его горячка. Он наткнулся на портрет пером, подписанный Гаварни, со следующей надписью: “Другу моему Фанни Легран. Трактир в Дампьере. В дождливый день”. Умное лицо, страдальческое выражение, ввалившиеся глаза и в них - горечь опустошенности.

- Кто это?

- Андре Дежуа… Я его берегла из-за надписи…

Госсен сделал такое движение, словно хотел сказать: “Можешь его оставить”, - но выражение лица у него было до того натянутое и до того несчастное, что она взяла портрет и, разорвав на мелкие клочки, бросила в огонь, а он тем временем углубился в чтение писем романиста - в эту скорбную сюиту, рождавшуюся на зимних пляжах, на курортах, где писатель лечился и изнывал от душевной боли, доходившей до боли физической, где он, вдали от Парижа, бился головой об стену в поисках темы и, несмотря на то, что всяческие волнения были ему запрещены, перемежал просьбы выслать ему лекарства и рецепты, материальные и деловые заботы, корректуры и переписанные векселя одним и тем же воплем страсти и восторга перед прекрасным телом Сафо.

Жан бормотал с простодушной яростью:

- Да что это они так из-за тебя?..

В этом для него был весь смысл отчаянных писем, свидетельствовавших

о крушении выдающихся личностей - таких, которым завидуют юноши и о которых мечтают романтически настроенные женщины… Да, что с ними со всеми творилось? Какую чашу давала она им испить?.. Он терзался, как терзается связанный по рукам и ногам человек, на глазах у которого оскорбляют любимую женщину. И все же он не решался осушить залпом содержимое этой шкатулки.

Теперь настала очередь гравера, жалкого, ничтожного, получившего известность только благодаря “Судебной газете”, обязанного местом в ковчежце только великой любви к нему этой женщины. Порочившие ее письма из Маза своею глупостью, нескладностью, душещипательностью напоминали письма служивого к своей односельчанке. Однако сквозь романсовые клише проступало искреннее чувство, уважение к женщине, самоотречение, выгодно отличавшее этого каторжника от других поклонников Фанни, сказывавшееся в том, что он просил у Фанни прощения за то, что из любви к ней пошел на преступление, или в том, что он тотчас по вынесении приговора, прямо из канцелярии суда написал ей о своей радости, что она оправдана и на свободе. Он не роптал. Благодаря ей он целых два года наслаждался таким полным, таким безоблачным счастьем, что одного воспоминания о нем довольно, чтобы наполнить всю его дальнейшую жизнь, чтобы смягчить постигший его удар судьбы. А в конце письма он обращался к ней с просьбой:

”Ты знаешь, что на родине у меня остался ребенок. Мать его давно умерла, и он живет у одной престарелой родственницы, в таком захолустье, куда весть обо мне, конечно, не долетит. Я послал ему все деньги, какие у меня оставались, и написал, что уезжаю в далекое путешествие. И вот я тебя прошу, дорогая Нини: хоть изредка справляйся о несчастном малыше и пиши мне о нем…”

Доказательством внимания к граверу со стороны Фанни служило его благодарственное письмо и еще одно, написанное совсем недавно, около полугода тому назад:

”Спасибо тебе за то, что пришла!.. Как ты была красива, как хорошо от тебя пахло, а я стоял перед тобой в арестантском халате, и мне было так стыдно!..”

- Значит, ты продолжала с ним видеться? - с бешеной злобой спросил

Госсен.

- Кое-когда, из жалости…

- Уже после того, как мы сошлись?..

- Да, один раз, всего один раз, в комнате для свиданий… Видеться можно только там.

- Какая же ты добрая!..

Мысль, что, невзирая на их связь, она ходила к фальшивомонетчику, особенно возмущала Госсена. Он ничего не сказал ей из самолюбия и вылил весь свой гнев на последнюю перевязанную голубой ленточкой пачку писем, написанных женским бисерным почерком с наклоном вправо.

”После бега колесницы я переодеваюсь… Приходи ко мне в уборную…”

- Не надо, не надо!.. Не читай!..

Подпрыгнув, она вырвала у него из рук всю связку, а он все еще ничего не понимал, даже когда она снова опустилась перед ним на колени, краснея от стыда и от того, что на нее падал отсвет пламени.

- Я была тогда молода. Это Каудаль… сумасброд из сумасбродов… Я исполняла его желание.

Только тут он понял все и помертвел.

- Ах да!.. Сафо!.. “Все звуки лиры…”

Он оттолкнул ее ногой, точно грязное животное:

- Оставь меня, не прикасайся, ты мне противна…

Ее стон потонул в оглушительном взрыве, совсем близком и долгом, и вдруг яркий свет озарил всю комнату… Пожар!.. Фанни в ужасе вскочила, машинально взяла со стола графин, вылила воду на груду бумаг, пылавшую в огне, от которого в конце концов загорелась скопившаяся за зиму сажа, потом схватила ведро, кувшины, но, видя, что она бессильна и

что искры долетают до середины комнаты, выбежала на балкон с криком:

- Пожар! Пожар!

Первыми прибежали Эттема, потом швейцар, потом полицейские. Кричали все разом:

- Закройте вьюшку!..

- Лезьте на крышу!..

- Воды, воды!..

- Нет, лучше одеялом!..

Жан и Фанни оторопело смотрели на свое заполоненное чужими людьми, со следами грязных ног на полу, жилище. А когда пожар удалось затушить и тревога утихла, когда темная, слабо освещенная газовым рожком собравшаяся внизу толпа рассеялась, когда успокоились и разошлись по своим комнатам соседи, любовники, оставшись одни среди мокроты и жидкой грязи, среди перевернутой мебели, с которой стекала вода, испытывали смешанное чувство отвращения и беспомощности; у них не было сил ни для того, чтобы ссориться, ни для того, чтобы убрать комнату. В их жизнь вошло что-то низменное и зловещее. В тот вечер, преодолев брезгливость, они пошли ночевать в гостиницу.

Жертва Фанни оказалась бесплодной. Запомнившиеся наизусть целые фразы из сгоревших, исчезнувших писем терзали влюбленную память, молотками стучали в висках, точно отрывки из плохих книг. Почти все прежние поклонники возлюбленной Госсена были люди знаменитые. Умершие продолжали жить. Имена и портреты живых можно было увидеть всюду, о них говорилось в его присутствии, и всякий раз он испытывал чувство мучительной неловкости, как при разрыве семейных отношений.

Душевная боль так обострила его зрение, его наблюдательность, что он скоро научился различать у Фанни следы былых привязанностей, улавливать выражения, мысли, привычки, которые перешли от них к ней. Манеру вытягивать большой палец как бы для того, чтобы подчистить, подправить предмет, о котором шла речь, и приговаривать: “Рисуешь себе?..” - она переняла у скульптора. У Дежуа она взяла пристрастие к игре

слов и к народным песням, - составленный им песенник пользовался известностью во всех уголках Франции; у Ла Гурнери - презрительный, надменный тон и строгость суждений о современной литературе.

Все это она усваивала, напластовывая разнородные особенности, и в конце концов образовалось явление, подобное стратификации, благодаря которой по различным слоям можно определить возраст и сдвиги земной коры. При ближайшем рассмотрении оказалось, что она совсем не умна. Какое там умна! Глупа, как корова, вульгарна да еще на десять лет старше, держит она его силою своего прошлого, силою низкой, сосущей ревности, и припадков и вспышек этой своей ревности он уже не в силах таить, - он по любому поводу ополчается то на того, то на другого.

Романы Дежуа никто не покупает, собрание его сочинений валяется во всех книжных лавках, собрание это можно купить за двадцать пять сантимов. А старый сумасброд Каудаль в его-то годы помешался на любви.

- Ты знаешь, у него зубов нет… Я наблюдал за ним, когда он завтракал в Вилль-д’Авре… Он ест, как коза, жует передними зубами.

И талант ему изменил. Какая дрянь эта его “Наяда”, которую он показал на последней выставке! “Из рук вон…” Это выражение - “из рук вон” - Госсен позаимствовал у Фанни, а она, в свою очередь, - у самого скульптора. Когда Госсен таким образом разделывал кого-нибудь из тех, кто был у Фанни до него, она в угоду ему поддакивала. Надо было слышать, как этот мальчишка, ничего не смысливший в искусстве, не знавший жизни, да и ничего еще, в сущности, не знавший, и нахватавшаяся верхушек девица, кое-чего набравшаяся у знаменитых людей искусства, судили обо всем свысока, какие безапелляционные выносили они приговоры.

Но в глубине души Госсен особенно ненавидел гравера Фламана. Госсен знал о Фламане только то, что Фламан был красив, как и он - белокур, что Фанни называла его “дружочек”, что она ходила к нему на свидания в тюрьму и что, когда Жан принимался за него и называл его “сентиментальный каторжник” или “красавчик арестант”, Фанни молча отворачивалась. Как-то раз Госсен упрекнул Фанни в снисходительном отношении к преступнику, а она ответила на его упрек спокойно, но довольно твердо:

- Ты прекрасно понимаешь, Жан, что, раз я люблю тебя, значит, я его разлюбила… Я больше туда не хожу, на письма не отвечаю, но я тебе не позволю дурно отзываться о человеке, который любил меня до безумия, который из любви ко мне пошел на преступление…

Это чистосердечие - лучшее, что было в Фанни, - обезоружило Госсена, но с того дня злобная ревность, подхлестываемая недоверием, не покидала его, и он иной раз приходил домой среди дня, неожиданно для Фанни: “А что, если она пошла к тому на свидание?..”

Он всегда заставал ее в их гнездышке - своей домоседливостью она напоминала восточную женщину - бездельничавшей или сидевшей за фортепьяно и дававшей урок пения их тучной соседке, г-же Эттема. После пожара они подружились с милыми этими людьми, полнокровными и добродушными, жившими на сквозняке, с вечно открытыми дверями и окнами.

Муж, чертежник, служивший в Главном артиллерийском управлении, брал работу на дом и каждый вечер и все воскресенье сидел в одной рубашке, обросший бородой до самых глаз, за широким раздвинутым столом, потел, пыхтел и поминутно встряхивал рукавами, чтобы было прохладнее. Его толстая жена тоже обливалась потом, хотя она в своем неизменном капоте вечно сидела сложа руки. Время от времени, чтобы разогнать по жилам кровь, они распевали свои любимые дуэты.

Обе пары быстро сошлись.

Около десяти часов утра за дверью раздавался громкий голос г-на Эттема:

- Вы готовы, Госсен?

Их присутственные места были расположены неподалеку, и они ходили на службу вместе. Грузный, вполне заурядный, стоявший на несколько ступеней ниже своего юного соседа, чертежник говорил мало и до того невнятно, как будто борода росла у него не только на щеках, но и во рту, и тем не менее Жан с его душевным хаосом испытывал потребность в общении с ним, так как в нем чувствовался человек порядочный. Госсен держался за это знакомство особенно потому, что его возлюбленная жила в одиночестве, населенном воспоминаниями и сожалениями, быть может,

более для него опасными, чем даже ее прежние увлечения, от которых она добровольно отреклась, а в г-же Эттема, все мысли которой были заняты мужем, которая то готовила ему к обеду какой-нибудь кулинарный сюрприз, то разучивала новый романс и пела его потом на закуску, он видел благой пример для Фанни - пример честности и нравственной чистоплотности.

Но когда их дружба дошла уже до взаимных посещений, в душе у Госсена зародилось сомнение. Соседи, наверно, считают их мужем и женой, его совесть восставала против этой лжи, и во избежание недоразумений он попросил Фанни предупредить соседку. Фанни весело рассмеялась… Бедное дитя! До чего же он еще наивен!..

- Да они ни одной секунды не думали, что мы женаты!.. Им на это наплевать с высокого дерева!.. Если б ты знал, где он взял жену!.. Я по сравнению с ней святая, прямо хоть свечки от меня зажигай. Он на ней женился, теперь она принадлежит только ему, и, как видишь, ему нет никакого дела до ее прошлого…

Больше Госсен к этому не возвращался. Кто бы мог подумать: эта уютная, ясноглазая женщина с нежной кожей, с детским смешком, употреблявшая устаревшие провинциальные выражения, обожавшая душещипательные романсы и витиеватые обороты, оказывается, женщина с прошлым, а между тем ее супруг так спокоен, так уверен в своем овеянном влюбленностью благополучии! Вот он идет с ним рядом, держит в зубах трубку и время от времени блаженно затягивается, а он, Госсен, думает все об одном и том же, исходит бессильной яростью.

- Пройдет, дружочек!.. - прошептала ему Фанни в такой час, когда близкие люди говорят друг другу все. И она старалась его успокоить, она была с ним ласкова, очаровательна, как в первый день, но за последнее время в ней появилось что-то развязное, чему Жан никак не мог подыскать точное определение.

Это выражалось в более свободной манере держать себя, в той непринужденности, с какой она высказывалась, в сознании своей власти над ним, в той поразительной откровенности, с какой она без всякого с его стороны понуждения рассказывала о своем прошлом, о своих кутежах, о своих странных выходках. Теперь она уже курила открыто, набивала

папиросу, бросала ее недокуренной где придется - эту вечную папиросу, из-за которой девицы вроде нее весь день ходят такие вялые - а в разговорах с ним высказывала в высшей степени циничный взгляд на жизнь, толковала о подлости мужчин, о низости женщин. Даже выражение лица у нее изменилось: в глазах словно осела муть стоячей воды, в которой нет-нет да и сверкнет отблеск бесстыдного смеха.

Их страсть выражалась теперь тоже иначе. На первых порах Фанни сдерживалась, щадя нежный возраст своего возлюбленного, боялась спугнуть его юношеские мечты, но когда она увидела, какое впечатление произвел на этого ребенка внезапный срыв покрова с ее разгульного прошлого, когда она удостоверилась, что разожгла в его крови болотную лихорадку, то перестала стесняться. Она долго себе не позволяла извращенных ласк, стискивала зубы и не давала вырваться исступленным выкрикам, зато теперь она все выпустила на волю, теперь она раскрывалась, отдавалась со всем пылом влюбленной и опытной куртизанки, теперь это была Сафо во всей ее отталкивающей славе.

Стыдливость, сдержанность - ну, а для чего? Мужчины все одинаковы, все испорчены, все отъявленные развратники, и этот младенец тоже не составляет исключения. Приманить их тем, на что они обыкновенно клюют, - это самый верный способ привязать их к себе. И она отлично знала: привитою ему порочностью наслаждений он потом заразит других. Так яд проникает, распространяется, жжет тело и душу, подобно факелам, которые, как о том повествует латинский поэт, переходили из рук в руки на ристалище.

V

У них в комнате рядом с прекрасным портретом Фанни кисти Джемса Тиссо, запечатлевшим былое ее великолепие, висел южный вид в черных и белых тонах, снятый при ярком солнце плохим деревенским фотографом.

Кремнистая горка, по бокам укрепленная каменными стенами, по ней карабкается виноград, наверху ряды кипарисов, принимающих на себя удары северного ветра, и, наконец, притулившийся у миртовой и сосновой

рощицы с солнечными бликами на деревьях большой белый дом, полуферма-полузамок с широким крыльцом, с итальянской крышей, с гербом над дверью, к дому примыкает уже настоящий провансальский mas [2 - Ферма (провансальск.).] с бурыми стенами, а там - насест для павлинов, хлев, разинутая черная пасть сараев, в которой поблескивают бороны и плуги. Надо всем этим возвышается уцелевшая от старинных укреплений стройная башня, вырезывающаяся на безоблачном небе, и еще виднеются кровли и романская колокольня Шатонеф-де-Пап, где испокон веков жила семья Госсен д’Арменди.

Кастле (усадьба и земельный участок), славившийся своими виноградниками не меньше, чем Нерт или Эрмитаж, переходил без раздела от родителей к детям, но управлял имением младший сын, так как семейная традиция требовала, чтобы старший был непременно консулом. К несчастью, судьба нередко путает карты. И если существовал когда-нибудь на свете человек, совершенно неспособный управлять имением и вообще чем бы то ни было управлять, так это был, конечно, Сезер Госсен, взваливший на свои плечи столь тяжкое бремя, когда ему исполнилось всего только двадцать четыре года.

Распутник, вечно таскавшийся по игорным притонам и прочим злачным местам, Сезер, или Балбес, как его называли в молодости, бездельник, шалопай, выродок, иногда появляющийся в самых строгих семьях, представлял собой своего рода отдушину.

Спустя несколько лет из-за его непрактичности, дурацкой расточительности, из-за его проигрышей в авиньонском и оранжском клубах земля была заложена, подвалы опустошены, урожай продан на корню. Затем в один прекрасный день, чтобы избежать наложения ареста на имущество, Балбес, подделав почерк брата, выдал три векселя на наше консульство в Шанхае - он надеялся извернуться и досрочно выкупить векселя. Однако извернуться ему не удалось, и векселя благополучно прибыли к старшему брату вместе с отчаянным письмом от младшего брата, в котором тот сознавался, что разорил имение и подделал подпись. Консул примчался в Шатонеф и при помощи своих сбережений и приданого жены уладил дело, а затем, окончательно убедившись, что на Балбеса положиться нельзя, отказался от блестящей карьеры и сделался простым виноградарем.

Вот это был типичный Госсен, помешанный на семейных преданиях, резкий и вместе с тем сдержанный, нечто вроде потухшего вулкана, таящего угрозу извержения и запас камней и лавы, трудолюбивый, сведущий в сельском хозяйстве. Благодаря ему Кастле процвел, расширил свои владения до самой Роны, а так как удачи в семье идут одна за другой, то вскоре под сенью миртов в имении появился на свет Жан. И только Балбес слонялся по дому, согнувшись под тяжестью своей вины, не смея поднять глаза на брата, подавлявшего его презрительным молчанием. Он свободно дышал в полях, на охоте, на рыбной ловле, предавался от скуки праздным забавам: ловил улиток, вырезывал из мирта или из тростника чудные тросточки, собирал оливковый сушняк, разводил на пустыре костер, жарил на вертеле дичь и обедал в полном одиночестве. Вечером, ужиная за семейным столом, он не произносил ни слова, хотя на него с ободряющей улыбкой смотрела невестка, жалевшая это заблудшее создание и снабжавшая его карманными деньгами тайком от мужа, который был суров с Балбесом по-прежнему не столько за глупости, какие тот уже успел натворить, сколько в ожидании будущих. И чутье его не обмануло: после того как гроза миновала, фамильная гордость Госсена-старшего подверглась новому испытанию.

Три раза в неделю в Кастле приезжала обшивать семью хорошенькая дочь рыбака Дивонна Абрие, которую мать произвела на свет в ивняке, на берегу Роны, - настоящее речное растение с длинным колышущимся стеблем. Ее маленькую головку украшала трехцветная каталонка, которую она не завязывала, так что можно было полюбоваться ее шеей, такой же смугловатой, как и лицо, нежными ледниками плеч и груди, и вся она напоминала даму из тех Судов любви, что устраивались некогда вокруг Шатонефа, Куртезона, Вакейраса, в старинных башнях, развалины которых все еще осыпаются на холмах.

Это историческое предание не сыграло никакой роли в увлечении простодушного Сезера - у него не было ни идеалов, ни сомнений. Но, будучи сам маленького роста, он отдавал предпочтение женщинам крупным и с первого дня знакомства влюбился в Дивонну. Балбес отлично знал, как нужно вести любовную интрижку в деревне: контрданс на воскресной танцульке, дичь в подарок, а затем при первой же встрече стремительный натиск - и вали ее прямо на лаванду или на солому. Но Дивонна не танцевала, дичь она отнесла на кухню и, крепкая, как один из белых и гибких приречных тополей, отшвырнула соблазнителя на десять

шагов. В дальнейшем она заставляла его держаться на почтительном расстоянии с помощью ножниц, которые висели у нее на стальном кольце, прикрепленном к поясу, а он, совсем обезумев от страсти, сделал ей предложение и во всем открылся невестке. Невестка знала Дивонну Абрие с детства, знала, что это девушка серьезная, тактичная, и в конце концов пришла к мысли, что этот неравный брак может спасти Балбеса. Но против женитьбы Госсена д'Арменди на простой крестьянке восстала спесь консула: “Если Сезер женится на ней, я его выгоню…” И он сдержал слово.

Женившись, Сезер ушел из Кастле, поселился на берегу Роны у родителей жены и стал жить на небольшую сумму, которую ему выплачивал брат, а доставляла ежемесячно сердобольная невестка. Маленького Жана мать брала с собой, и всякий раз он приходил в восторг от хижины Абрие - от этой задымленной, своеобразной ротонды, державшейся на одной-единственной прямой, как мачта, подпорке и сотрясаемой то мистралем, то трамонтаной. Когда дверь хижины была отворена, то казалось, что в ее проем, точно в рамку, вставлена невысокая насыпь, на которой сушились сети и сверкало и переливалось оправленное в перламутр живое серебро рыбьей чешуи. Две-три крупные лодки покачивались и поскрипывали у причалов, а там, дальше, - большая, широкая, веселая, искрящаяся река, взъерошенная ветром и набегавшая на острова с купами бледно-зеленых деревьев. Вот когда еще в душе у Жана зародилась любовь к далеким путешествиям, заочная любовь к морю.

Изгнание дяди Сезера длилось года два-три и, пожалуй, так никогда и не кончилось бы, если б не одно семейное событие, если б не рождение близнецов - Марты и Марии. Мать, родив двойню, заболела, и Сезер с женой получили разрешение навестить ее. Затем состоялось примирение братьев, состоялось не по велению разума, а по велению чувства, по всевластному зову крови. Супруги перебрались в Кастле, а так как неизлечимая анемия, вскорости осложнившаяся подагрой, лишила несчастную мать способности передвигаться, то Дивонне пришлось взять в свои руки хозяйство, взять на себя заботу о питании малюток, установить присмотр за многочисленной прислугой, она же должна была два раза в неделю навещать Жана в авиньонском лицее, и это не считая постоянного ухода за больной.

Женщина не только естеством, но и по складу ума, Дивонна восполняла недостаток образования врожденной сметливостью, и эта сметливость в

сочетании с чисто крестьянским упорством брала верх над обрывками знаний, случайно застрявших в мозгу ныне укрощенного и послушного Балбеса. Бывший консул свалил на Дивонну все домашние дела, а между тем вести дом становилось все труднее и труднее; заботы росли, а доходы год от году уменьшались: виноградники гибли от филлоксеры. Вся долина была ею поражена, но приусадебный участок еще держался, и усилия консула были теперь направлены к тому, чтобы спасти его путем различных исследований и опытов.

Дивонна Абрие не рассталась со своим головным убором, со стальным кольцом, как у простой мастерицы, держалась скромно, знала свое место - место экономки и сиделки, в самые тяжелые годы избавляла семью от денежных затруднений, по-прежнему окружала больную дорого стоившим уходом, девочки благодаря ей воспитывались, как барышни, плата за учение Жана поступала аккуратно сначала в лицей, потом в Экс, где он изучал право, и, наконец, в Париж, где он заканчивал образование.

Никто не мог понять, да и она сама не понимала, какой чудодейственной бережливостью и рачительностью это достигалось. Но каждый раз, когда Жан переносился мечтой в Кастле, когда он смотрел на бледную, выцветшую фотографию, первая, кого он вызывал в памяти, первая, кого он называл по имени, была Дивонна, простая крестьянка с благородным сердцем, - она пряталась за спиной знати и усилием воли поддерживала ее достоинство. Впрочем, последнее время, с тех пор как он узнал, что собой представляет его любовница, он избегал произносить в ее присутствии это священное для него имя, равно как имя матери и всех своих родных. Ему даже совестно было смотреть на фотографию; ему казалось, что она не туда попала, что ей не место над кроватью Сафо.

Однажды, вернувшись к обеду, он с изумлением обнаружил, что стол накрыт не на два, а на три прибора, а потом с не меньшим изумлением заметил, что Фанни играет в карты с каким-то маленьким человечком, которого он сперва не узнал; когда же человечек обернулся и Жан увидел его светлые глаза, своим выражением напоминавшие глаза дикой козы, нос во все его загорелое и румяное лицо, голый череп и бороду, как у солдата Лиги, он сразу узнал дядю Сезера. На удивленный возглас племянника дядя, не выпуская из рук карт, отозвался:

- Как видишь, я не скучаю - мы играем с моей племянницей в безик.

С его племянницей!

А Жан так тщательно скрывал от всех свою связь! Эта фамильярность ему не понравилась, так же как не понравилось ему и то, что Сезер шептал, пока Фанни хлопотала с обедом:

- Поздравляю тебя, мой мальчик… Глаза… ручки… Королева!..

Дело пошло еще хуже за столом, когда Балбес пустился в откровенности насчет положения дел в Кастле и насчет того, зачем он приехал в Париж.

Предлогом для поездки явилась необходимость получить деньги: когда-то он дал взаймы восемь тысяч франков своему приятелю Курбебессу, и он уже махнул на них рукой, как вдруг нотариус известил его о смерти Курбебесса - “Бедняга!” - и о том, что он хоть сейчас может получить восемь тысяч франков. Но деньги ему могли прислать, истинная причина его приезда, “истинная причина - это здоровье твоей матери, мой милый… За последнее время она очень ослабела, стала заговариваться, все забывает, забывает даже, как зовут девочек. Недавно твой отец вышел вечером из ее комнаты, а она спрашивает Дивонну, кто этот любезный господин, который так часто ее навещает. Обратила на это внимание твоя тетка, все рассказала мне и послала в Париж посоветоваться с Бушро: он ведь когда-то лечил твою бедную мать”.

- У вас в семье были ненормальные? - с важным, ученым видом, который она переняла у Ла Гурнери, осведомилась Фанни.

- Нет… - ответил Балбес и тут же с лукавой улыбкой, от которой все лицо его сморщилось, добавил, что в молодости он сам был слегка помешан: - Но мой род помешательства нравился дамам, и меня держали на свободе.

Жан смотрел на них с раздражением. К печали, которую ему причинила грустная новость, примешивалось чувство досадной неловкости оттого, что Фанни с непринужденностью опытной женщины, поставив локти на скатерть и набивая папиросу, рассуждает о его матери, о ее недомоганиях, вызванных критическим возрастом. А этот нескромный болтун выдает одну семейную тайну за другой.

Да, а тут еще виноградники… Пропали виноградники!.. И тот, что при

усадьбе, долго не просуществует. Половину тля сожрала, остальное сохранилось чудом, благодаря тому, что за каждой кистью, за каждой ягодкой ухаживают, как за больными детьми, а то, чем поливают, стоит дорого. На беду, консул упрямится, вот что самое скверное: вместо того чтобы пустить плодородную, даром пропадающую землю, на которой торчат сраженные, погибшие кусты, под оливы и под каперсы, он упорно подсаживает новые лозы, а тля их пожирает.

К счастью, у него, Сезера, есть несколько гектаров на берегу Роны, и там виноградники сохранились благодаря обводнению; это замечательный способ, но его можно применять только в низких местах. Сезер уже собрал славный урожай, - правда, винцо не очень крепкое, консул отзывается о нем с презрением: “Водичка!” - но Балбес тоже уперся, и теперь, получив восемь тысяч франков долгу, он купит Пибулет.

- Ты, мальчик, конечно, помнишь, где это: ближайший к нам остров на Роне, ниже того места, где стоит домик Абрие… Но это между нами, в Кастле никто об этом не должен знать…

- И Дивонна тоже, дядюшка?.. - усмехаясь, спросила Фанни.

При имени жены глаза Балбеса увлажнились.

- О, без моей Дивонны я никогда ничего не предпринимаю! Притом она верит в успех моего предприятия и была бы счастлива, если б бедный ее Сезер, начав с разорения Кастле, в конце концов упрочил бы его благосостояние.

Жан затрепетал. Неужели дядюшка будет продолжать свою исповедь и расскажет позорную историю с подлогом? Но провансалец, исполненный нежности к своей Дивонне, заговорил о ней и о том, как он с ней счастлив. А какая она красавица, как великолепно скроена!

- Вы, племянница, как всякая женщина, должны знать в этом толк.

Сезер достал из бумажника ее карточку - он никогда с ней не расставался.

По сыновней привязанности, неизменно звучавшей в голосе Жана, когда он говорил о Дивонне, по материнским наставлениям, какие посылала ему

эта крестьянка, по ее размашистому и не очень уверенному почерку Фанни составила себе о ней представление как о типичной сельчанке из департамента Сена-и-Уаза, в косынке, концы которой завязываются надо лбом, и была поражена ее красивым лицом с чистыми линиями, которые высветлял белый гладкий чепец, ладным и гибким станом тридцатипятилетней женщины.

- Да, правда, очень хороша… - каким-то особенным тоном, поджимая губы, заметила Фанни.

- А как скроена! - подхватил помешанный на этом дядюшка.

Все трое вышли на балкон. День выстоял жаркий, цинковая кровля все еще была накалена, а сейчас из одинокой тучки шел мелкий, как из сита, дождик, охлаждавший воздух, весело стучавший по крышам и грязнивший тротуары. Париж радовался дождику. Сновавшие взад и вперед пешеходы, экипажи, долетавший до балкона уличный шум - все это действовало опьяняюще на провинциала, вызывало в его пустой и подвижной, как бубенец, голове воспоминания молодости - лет тридцать тому назад он ведь прожил здесь три месяца у своего приятеля Курбебесса.

- Ну уж и покутили мы тогда, дети мои, уж и погуляли!..

В середине Великого поста они явились ночью на Прадо; Курбебесс вырядился арлекином, а его любовница Морна - продавщицей песенников; кстати сказать, этот маскарад пошел ей на пользу: вскоре она стала кафешантанной звездой. А дядюшка вел за руку подружку парижских студентов, у которой была кличка Цыпочка. Развеселившись при этом воспоминании, дядюшка заливался хохотом, напевал танцевальные мотивы, брал племянницу за талию. В полночь, уходя от них в отель Кюжа - единственный известный ему в Париже отель, - он распевал во все горло на лестнице, посылал воздушные поцелуи племяннице, вышедшей посветить ему, и кричал Жану:

- Берегись, братец мой!..

Как только он ушел, Фанни, на лбу у которой все еще не разгладилась задумчивая складка, вбежала к себе в туалетную и, оставив дверь полуотворенной, с напускной беспечностью сказала собиравшемуся ложиться Жану:

- Послушай! А ведь тетка-то у тебя прехорошенькая… Теперь меня не удивляет, почему ты так часто мне о ней говорил… Наверно, ты кое-что наставил бедняге Балбесу. Впрочем, голова у него только для этого и создана…

Все существо Жана было возмущено… Дивонна, заменившая ему родную мать, воспитывавшая его, когда он был маленьким, одевавшая его!.. Она его выходила, спасла от смерти… Да нет же, она никогда не будила в нем нечистых желаний!

- Ну, ну! - со шпилькой в зубах, скрипучим голосом продолжала Фанни. - Никогда я не поверю, чтобы женщина с такими глазками и такого покроя, как выражается этот болван, утерпела и не влюбилась в красивого блондина с девичьим румянцем на щеках!.. Да будет тебе известно, что мы, женщины, везде одинаковы - что на берегах Роны, что где-нибудь еще…

Фанни произнесла эти слова с полным убеждением; она в самом деле полагала, что женщины - рабыни своих причуд и что ни одна из них не устоит перед первым порывом страсти. Жан защищался, но неуверенно; он обращался к своей памяти, спрашивал себя, наводили ли его когда-нибудь на грешные мысли невинные ласки Дивонны. И хотя он не мог припомнить ни одного такого случая, чистота его привязанности к Дивонне была замутнена, нежная камея была поцарапана.

- А ну посмотри!.. Головной убор твоих землячек…

Она надела на голову и заколола булавкой белую косынку, отчасти смахивавшую на “каталонку”, то есть на трехцветный чепчик, какой носят уроженки Шатонефа, и эта косынка прикрыла ее красивые, расчесанные на прямой пробор волосы. Сейчас Фанни стояла перед ним, вытянувшись во весь рост, в батистовой ночной, ложившейся молочно-белыми складками рубашке.

- Ну что, похожа я на Дивонну? - сверкая глазами, спросила она.

О нет, нисколько! Она была похожа на самое себя, и этот ее убор напоминал не чепчик южанки, а шапочку заключенной, которую на нее надели в Сен-Лазаре и в которой, как уверяют, она была особенно хороша, когда послала на суде каторжанину прощальный воздушный поцелуй: “Не горюй, дружочек, счастье нам еще улыбнется…”

И от этой мысли Жану стало так больно, что, как только Фанни легла, он, чтобы не видеть ее, сейчас же потушил свет.

На другой день к ним спозаранку явился с задорным видом, размахивая тросточкой, дядюшка.

- Здорово, ребята! - приветствовал он их тем разухабисто-покровительственным тоном, каким в былое время разговаривал с ним Курбебесс, когда заставал его в объятиях Цыпочки. Казалось, Сезер был еще сильнее возбужден, чем накануне. В этом был повинен, без сомнения, отель Кюжа, но еще больше - восемь тысяч франков, которые лежали у него в бумажнике. Эти деньги ассигнованы на покупку Пибулет - ну да, конечно, - но ведь имеет же он право истратить несколько луидоров и позавтракать с племянницей за городом!..

- А как же Бушро? - спросил племянник; он не мог себе позволить два дня подряд не показываться в министерстве. Условились позавтракать на Елисейских Полях, а затем мужчины пойдут к доктору.

Балбес мечтал совсем не о том; ему мерещилась поездка в Сен-Клу в роскошном экипаже, с изрядным запасом шампанского. И тем не менее они отлично позавтракали на террасе ресторана, затененной лаковым деревом и акацией, под звуки оркестра, сыгрывавшегося в соседнем кафешантане. Сезер болтал без умолку, был чрезвычайно любезен и всячески старался обворожить парижанку. Пробирал официантов, хвалил метрдотеля за то, как у них приготовляют рыбу. Фанни смеялась заливистым, неестественным глупым смехом, она вносила в этот завтрак пошлость отдельных кабинетов, а Госсену это было неприятно, и неприятна была ему та короткость отношений, какая, помимо него, устанавливалась между дядюшкой и племянницей.

Глядя на них, можно было подумать, что они подружились лет двадцать назад. Балбес, расчувствовавшись после десертных вин, говорил о Кастле, о Дивонне и о “маленьком” Жане… Он, Сезер, счастлив, что около Жана такая серьезная женщина, она не даст ему наделать глупостей. Жан обидчив, с ним не так-то легко ладить, и Сезер, тусклыми, маслеными глазками глядя на Фанни и похлопывая ее по плечу, заплетающимся языком давал ей как новобрачной советы.

У Бушро он протрезвел. Да хоть кого отрезвило бы двухчасовое ожидание в доме на Вандомской площади, на втором этаже, в огромных комнатах, высоких и холодных, набитых молчаливыми, пришибленными людьми, весь этот ад человеческого страдания, круги которого они прошли один за другим, переходя из комнаты в комнату, вплоть до кабинета великого ученого.

У Бушро была феноменальная память, и он сейчас же вспомнил г-жу Госсен: десять лет назад, как только она заболела, он приезжал в Кастле на консультацию. Он попросил подробно описать, как протекала болезнь, просмотрел рецепты и тут же успокоил Сезера и Жана относительно мозговых явлений - по его мнению, их вызвали некоторые лекарства. Потом, неподвижный, сдвинув густые брови, нависшие над острыми, пронзительными глазками, Бушро долго писал письмо своему собрату в Авиньон, а дядюшка и племянник, затаив дыхание, прислушивались к скрипу пера, и он заглушал для них весь шум роскошного Парижа. В эти минуты врач представал перед ними во всем своем современном могуществе - могуществе последнего священнослужителя, могуществе, которым обладает предмет наивысших упований, могуществе неодолимого суеверия.

Сезер вышел от него степенный и присмиревший.

- Я поеду в отель за вещами. Понимаешь, мой мальчик, парижский воздух скверно на меня действует… Если я останусь, то непременно наделаю глупостей. Я уеду с семичасовым поездом. Извинись за меня перед племянницей, ладно?

Жан, напуганный ребячливостью и легкомыслием дядюшки, не стал его удерживать. Наутро, проснувшись, он уже благословлял судьбу за то, что дядя вернулся под крылышко к Дивонне, как вдруг к ним вошел Сезер с поникшей головой, в растерзанном виде.

- Боже мой! Дядюшка, что с вами?

Безгласный и одеревенелый, дядюшка плюхнулся в кресло, а затем начал постепенно выходить из оцепенения и признался, что у него была одна встреча, напомнившая ему времена Курбебесса, за встречей последовал обильный ужин, и в одну ночь он спустил в злачном месте все восемь

тысяч франков… У него не осталось ни единого су, ничего!.. Как он теперь вернется домой, что скажет Дивонне? А покупка Пибулет?.. И тут, как бы в припадке умоисступления, он заткнул большими пальцами уши, прикрыл глаза и, дав волю своим чувствам, завыл, зарыдал, предался самобичеванию, стал рассказывать о себе, - как видно, южанину хотелось пространной исповедью облегчить свою совесть… Да, он - позор семьи, он - ее несчастье. Ведь можно убивать волков, почему же нельзя убивать таких типов, как он? Если бы его брат не проявил душевного благородства, то где бы он сейчас был?.. На каторге, вместе с ворами и фальшивомонетчиками.

- Дядюшка, дядюшка!.. - пытаясь остановить его, в отчаянии повторял Жан.

Но тот продолжал самозабвенно и упоенно каяться, он рассказывал о своем преступлении во всех подробностях, а Фанни смотрела на него со смешанным чувством жалости и восхищения… Во всяком случае, это человек сильных страстей, - “пропадай все пропадом!” - а она таких любила. Ее доброе сердце болело за него, и первым ее душевным движением было прийти ему на помощь. Но как? Она целый год ни с кем не видалась, у Жана в Париже никаких знакомств!.. Внезапно ее осенило: Дешелет!.. Он малый славный и сейчас в Париже.

- Да мы же с ним почти незнакомы… - возразил Жан.

- Я сама к нему пойду…

- То есть как? Ты… к нему?..

- А что ж тут такого?

Они обменялись взглядами и поняли друг друга. Дешелет тоже был ее любовником, любовником на одну ночь, и она его помнила смутно. Но Жан помнил всех. Ее любовники все до одного помещались у него в голове, как святые в календаре.

- Впрочем, если тебе это неприятно… - слегка смутившись, сказала она.

Но тут Сезер, утихнувший, пока Фанни и Жан переговаривались между собой, устремил на нее испуганный взгляд, выражавший такую отчаянную

мольбу, что Жан смирился и скрепя сердце дал согласие…

Каким долгим показался дяде и племяннику этот час, в течение которого они, перегнувшись через балконные перила, все поглядывали, не идет ли Фанни, как тягостны были одолевавшие их мысли, в которых они ни за что не сознались бы друг другу!

- Дешелет далеко живет?..

- Нет, на Римской… Два шага!.. - с бешенством отвечал Жан; ему тоже казалось, что Фанни запаздывает. Он пробовал утешать себя тем, что у Дешелета девизом в любви было: “Никаких завтра”, - а еще его успокаивал пренебрежительный тон, в котором инженер говорил при нем о Сафо как о бывшей львице. Но тут же в нем просыпалось самолюбие, и ему даже хотелось, чтобы она понравилась Дешелету, чтобы она пленила его. Ох уж этот старый сумасброд Сезер! По его вине у племянника открылись былые раны.

Наконец из-за угла выпорхнула накидка Фанни. Она вернулась сияющая:

- Все прекрасно… Я достала деньги.

Когда дядюшка увидел перед собой восемь тысяч франков, он заплакал от радости и предложил дать расписку в том, что он в такой-то срок вернет долг с процентами.

- Зачем, дядюшка?.. О вас там не было и речи… Деньги он дал взаймы мне, и должны вы мне, а не ему, отдадите, когда вам заблагорассудится.

- Вы, дитя мое, оказали мне такое благодеяние, что я теперь ваш друг до гроба!.. - не зная, как и благодарить ее, воскликнул Сезер.

И на перроне он со слезами на глазах говорил Жану, поехавшему его проводить, чтобы он опять как-нибудь не застрял:

- Какая она замечательная женщина, настоящее сокровище!.. Смотри же, береги ее!..

Жана злило это приключение; он чувствовал, как цепь, и без того тяжелая, сковывает его по рукам и ногам; его врожденная душевная

чистоплотность до сих пор разъединяла и обособляла семью и связь, а теперь все смешалось. Сезер ввел Фанни в курс своих дел, рассказал ей о своих насаждениях, выложил ей все новости Кастле. А Фанни порицала консула за упрямство, которое тот проявлял в вопросе о виноградниках, толковала о здоровье матери, приставала к Жану с непрошеными заботами и советами. Но зато она не заговаривала ни о своей услуге, ни о давнишнем злоключении Балбеса, в котором он ей признался, - о том уроне, который он нанес дому Арменди. Только раз она воспользовалась этим как оборонительным оружием, и вот при каких обстоятельствах…

Возвращаясь из театра, они под дождем садились в экипаж на стоянке возле бульвара. Экипаж, представлявший собой одну из тех колымаг, которые ездят только после полуночи, долго не трогался с места; кучер был сонный, лошадь трясла торбой. Пока Фанни и Госсен ждали, сидя в фиакре, старый кучер, чинивший свой кнут, не спеша подошел к их фиакру, заглянул в окошко и, обратившись к Фанни, осипшим от пьянства голосом, держа веревку в зубах, оказал:

- Здорово!.. Как дела?

- А, это ты!

Она вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и шепнула Госсену:

- Это мой отец!..

Что? Ее отец - вот этот плут, тайно от полиции занимающийся извозным промыслом, в забрызганном грязью, перешитом из старой ливреи долгополом сюртуке с болтающимися на ниточке металлическими пуговицами, вот этот плут с одутловатым апоплексическим лицом алкоголика, на которое падал свет от газового рожка и в котором Госсен старался отыскать - хотя бы и в огрубленном виде - правильные, чувственные черты Фанни и ее широко раскрытые глаза - глаза женщины, жаждущей наслаждений?.. Не стесняясь присутствия спутника дочери и словно бы не замечая его, папаша Легран сообщал семейные новости:

- Старуха уже две недели как у Неккера - на ладан дышит… Зайди к ней в один из ближайших четвергов - она рада будет… Ну, а я - слава богу: кузов еще в исправности, кнут держу в руке крепко! Вот только дела идут ни шатко ни валко… Если б тебе понадобился хороший кучер на месяц,

тогда бы я поправился… Не нужен? Ну что ж, ничего не поделаешь. Стало быть, пока до свидания!..

Отец и дочь обменялись вялым рукопожатием. Фиакр тронулся.

- Ну? Как тебе нравится?.. - пролепетала Фанни и потом долго рассказывала о своей семье, чего до сих пор тщательно избегала. - Все это до того неприглядно, до того мелко…

Но теперь они с Жаном лучше знают друг друга, можно уже не скрывать.

Родилась она под Парижем, в Мулен-оз-Англе; ее отец, бывший драгун, возил седоков из Парижа в Шатильон; мать была трактирной служанкой: от прилавка к столикам - и обратно.

Фанни не знала свою мать - она умерла родами. Добрые люди, хозяева почтовой станции, заставили отца признать ребенка и отдать его кормилице. Тот здорово задолжал хозяевам и не посмел ослушаться. Когда же Фанни исполнилось четыре года, он стал брать ее с собой, запихивал, как щенка, наверх, под самый брезент, и ей весело было трястись по дорогам, весело смотреть, как с двух сторон бегут им навстречу сверкающие на солнце фонари, как поводят дымящимися боками лошади, а когда темнело - засыпать под завывание ветра и звон бубенцов.

Но папаша Легран скоро начал тяготиться своими отеческими обязанностями. Как ни дешево это ему стоило, а все же надо было кормить и одевать эту соплячку. Затем она мешала ему жениться на вдове огородника, а он уже заглядывался, проезжая мимо, на пузатые дыни, на выстроившиеся в каре кочаны капусты. Фанни очень хорошо поняла, что она отцу помеха. Это была его навязчивая идея, навязчивая идея пьяницы - во что бы то ни стало избавиться от ребенка, и если бы сама эта вдова, славная женщина по имени Машом, не взяла ее под свое покровительство…

- Да ведь ты же знаешь Машом, - сказала Фанни.

- Ах, это та служанка, которую я у тебя видел?..

- Ну да, это моя мачеха… Как она со мной возилась, когда я была маленькая! Впоследствии я решила вырвать ее из лап негодяя мужа и взяла

к себе: после того как он прожил все ее приданое, он стал избивать ее, заставлял прислуживать шлюхе, с которой он сошелся… Бедняжка Машом! Она узнала на опыте, что жизнь с красивым мужчиной обходится не дешево… Представь: как я ее ни отговаривала, она все-таки ушла от меня, ушла к нему, а теперь, вот видишь, попала в больницу. Как этот старый мерзавец опустился без нее! До чего он грязен! Морда опухла! Вот только кнут… Ты обратил внимание, как прямо он его держит?.. Иной раз так наклюкается - на ногах не стоит, а кнут держит, как свечу, и уносит его в комнату. Больше он ни на что не годен. “Кнут держу в руке крепко” - это его собственное выражение.

Фанни рассказывала, не придавая никакого значения своим словам, говорила об отце, как о чужом человеке, не испытывая к нему отвращения и не стыдясь его, а Жан слушал и приходил в ужас… Ну и папаша!.. Ну и мамаша!.. И он сейчас же представил себе строгое лицо консула и ангельскую улыбку г-жи Госсен… Фанни наконец почувствовала, что кроется за молчанием ее возлюбленного, какое возмущение вызывает в нем вся эта грязь, в которой он перепачкался, сблизившись с такой женщиной, как она.

- В сущности говоря, - философически заметила Фанни, - в каждой семье свои беды, а мы тут ни при чем… У меня - папаша Легран, а у тебя - дядя Сезер.

VI

”Милый мальчик!

Я тебе пишу, а рука у меня все еще дрожит от великого потрясения, которое мы только что испытали: наши близнятки вдруг исчезли, их не было в Кастле весь день, всю ночь и все утро следующего дня!..

В воскресенье перед завтраком мы обнаружили, что девочек нигде нет. Я их нарядила к ранней обедне, а в церковь должен был пойти с ними консул, и я выпустила их из виду: я не отходила от твоей мамы, а та нервничала, - наверное, предчувствовала беду. Ты же знаешь, что это свойство у нее

появилось после того, как она заболела: она предвидит, что должно случиться; чем меньше она двигается, тем больше работает у нее голова.

К счастью для нее, она была у себя в комнате, а мы все собрались в столовой и ждем малюток. Их ищут на огороде, пастух дудит в свою дудку, которой он скликает овец, потом Сезер побежал туда, я - сюда, Русселина, Тардив - все мы носимся по Кастле и всякий раз, когда сталкиваемся друг с дружкой, спрашиваем: “Ну что?” - “Нигде не видать”. А потом уже и спрашивать не решались. С замиранием сердца заглядываем в колодезь, в высокие окна сарая… Ну и денек!.. А мне еще надо было каждую минуту забегать к твоей маме и весело улыбаться; я ей сказала, что послала девочек на воскресенье к тете в Вилламюри. Она как будто бы поверила, но поздно вечером сижу я около нее, смотрю в окно на огоньки в поле и на реке - это все искали малюток - и вдруг слышу плач: твоя мама уткнулась в подушку и втихомолку плачет. Спрашиваю, о чем это она. “От меня скрывают, а я все-таки догадалась, - вот почему я плачу…” - отвечает она мне голосом маленькой девочки, который у нее появился после того, как она столько выстрадала. Больше мы с ней ни о чем не говорили, обе ушли в свое горе, ее тревога передавалась мне, а ей - моя…

Не стану, милый мальчик, томить тебя подробным изложением этой мрачной истории. Короче говоря, в понедельник утром малюток привели к нам батраки твоего дяди, которые работают на острове; нашли они их на куче хвороста; обе были бледные-бледные от голода и от холода - ведь они ночевали под открытым небом, у реки. Вот что сами девочки рассказали нам со всей своей младенческой бесхитростностью… Уже давно им не давала покоя мечта поступить так, как поступили их покровительницы Марфа и Мария, а житие этих святых девочкам читали: они решили отправиться в лодке без парусов, без весел, не захватив с собой еды, и на том берегу, куда их занесет дух божий, начать проповедовать Евангелие. И вот в воскресенье после обедни они отвязали рыбачью лодку и стали в лодке на колени, как святые Марфа и Мария, - течение их относит все дальше и дальше, а они себе спокойно стоят на коленках в лодке, и в конце концов, несмотря на половодье, сильный ветер и воронки в реке, их прибило к заросшему камышом острову Пибулет… Да, господь бог сохранил наших ангельчиков и возвратил нам их! Вот только праздничные переднички у них смялись да золотой обрез на молитвенниках попортился. У нас не хватило духу журить их, мы могли только обнимать их и крепко-крепко целовать, но потом мы просто заболели от всего, что нам пришлось

пережить.

Тяжелее всех переживает до сих пор временную пропажу малюток твоя мама; мы ничего ей не рассказали, а она уверяет, будто почувствовала, как над Кастле прошла смерть, и с той поры она, такая всегда спокойная, веселая, все грустит, и ничто эту грусть не может рассеять, хотя все мы - и твой отец, и я, и другие домашние - окружаем ее заботой и лаской… А пишу я об этом, Жан, потому, что скучает и тоскует она по тебе. Она не решается заговорить об этом при твоем отце - отцу не хочется отрывать тебя от занятий, - но ведь ты обещал приехать после экзаменов и не приехал. Сделай нам сюрприз - приезжай к Рождеству, и на лице у нашей бедной больной вновь появится ее добрая улыбка. Поверь мне: когда старики уходят из жизни, как потом жалеешь, что не побыл с ними!..”

Стоя у окна, в которое лениво сочился свет туманного зимнего утра, Жан читал письмо и вдыхал вместе с его деревенским ароматом дорогие ему воспоминания детства, пронизанные материнской лаской и лучами солнца.

- О чем тебе пишут?.. Покажи!..

Фанни разбудил желтый свет, проникший в комнату, как только Жан отдернул занавеску, и она, с отекшим от сна лицом, машинально потянулась к пачке мэрилендского табаку, всегда лежавшей на ночном столике. Зная, что одно имя Дивонны вызывает у Фанни припадок ревности, Жан заколебался. Но ведь письмо не спрячешь, тем более что Фанни по формату бумаги могла догадаться, откуда оно.

Фанни, с голыми руками и голой грудью, оперлась локтем на подушку и, набивая папиросу, расплескав по плечам каштановые волны волос, принялась за чтение. Вначале история бегства девочек забавляла Фанни, но конец письма привел ее в бешенство: она разорвала письмо и разбросала клочки по всей комнате.

- Ох уж эти “святые женщины”! Все она выдумала, только чтобы вызвать тебя… Красивого племянничка недостает этой…

Ему не удалось остановить Фанни - похабное слово сорвалось у нее с языка, а вслед за ним непристойности посыпались градом. Никогда еще не доходила она при нем до такого бесстыдства, никогда еще не обрушивала на него такого яростного потока мутной злобы, зловонных нечистот,

хлынувших как бы из лопнувшей трубы. Весь жаргон ее прошлого - прошлого озорной уличной девки - клокотал у нее в горле и раздирал ей рот.

Только дурак не сообразит, что они там затевают… Сезер проболтался, и они на семейном совете решили заставить Жана разорвать связь, заманить его домой, а для наживки - на что же лучше Дивонна с ее ладным покроем!

- Но только имей в виду: если ты уедешь, я напишу этому рогоносцу… Я его предупрежу… Да уж, будь благонадежен!..

Мертвенно-бледная, с осунувшимся мгновенно лицом, отчего все черты ее стали резче, она злобно напружилась, точно хищный зверь, приготовившийся к прыжку.

Госсен вспомнил, что он видел ее именно такой на улице Аркад, но сейчас ее рыкающая ненависть была направлена против него, и ненависть эта вызывала в нем желание броситься на свою любовницу и избить ее: в плотской любви нет места для почтения и уважения к любимому существу, вот почему она будит в человеке зверя, все равно, охвачен он гневом или порывом страсти. Жан не мог поручиться за себя; он счел за благо шмыгнуть в дверь и пойти на службу, и по дороге он осыпал себя упреками за ту жизнь, какую он сам себе создал… В другой раз не связывайся с такого сорта женщинами!.. Какое безобразие, какая мерзость!.. От нее всем досталось: и его сестренкам, и матери… Скажите пожалуйста: он не смеет даже навестить родных! Да это хуже всякой тюрьмы! Перед его мысленным взором прошла вся история их близости: он видел, как прекрасные голые руки египтянки обвились вокруг его шеи в вечер бала, как они потом вцепились в него, сильные, властные, и отдалили от друзей, от семьи. Но сейчас его решение непреклонно. Вечером он во что бы то ни стало уедет в Кастле.

Сбыв с рук кое-какие дела и взяв в министерстве отпуск, он пришел домой рано, - он был уверен в неизбежности скандала, он был готов ко всему вплоть разрыва. Но Фанни ласково с ним поздоровалась, в глазах у нее стояли слезы, щеки ее словно обмякли от слез - все это поколебало его решимость.

- Я уезжаю вечером… - переборов себя, сказал он.

- Ты прав, дружочек: тебе надо повидаться с матерью… А главное… - ластясь к нему, добавила она, - забудь мою вспышку! Это все от любви к тебе, я же тебя люблю до безумия!..

С кокетливой заботливостью она принялась укладывать его вещи, все время до отъезда была с ним нежна, как в первые дни, и, быть может, для того, чтобы удержать его, ничем не нарушала своего покаянного настроения. Она ни разу не попросила его: “Останься!” В последнюю минуту, когда сборы были окончены и всякая надежда утрачена, она приникла, она прильнула к своему возлюбленному, как бы стремясь пропитать его собой на все время путешествия, на все время разлуки, но прощальный ее поцелуй и прощальный ее шепот выражал одно:

- Ты на меня не сердишься, Жан?..

О, какое счастье проснуться утром в своей маленькой детской, ощущая в сердце еще не остывший жар родственных объятий, радостных излияний, без которых не обходится приезд близкого человека, увидеть на том же месте, на противомоскитной сетке, натянутой над его узкой кроватью, полосу света - первое, что он видел в детстве, когда просыпался, услышать крик павлинов, сидящих на жердочках, скрип колодезного журавля, дробный стук копыт спешащего на выгон стада, распахнуть ставни так, чтобы они ударились об стену, и увидеть вновь, как прекрасный теплый солнечный свет, словно прорвав плотину, вливается в окно и стелется пеленами по комнате, увидеть вновь пленительные дали - поднимающиеся уступами виноградники, кипарисы, оливы, отсвечивающий на солнце сосновый лес, тянущийся до самой Роны, и надо всем этим - глубокое чистое небо, без единой пушинки облака, несмотря на ранний час, свежее небо, которое всю ночь овевал мистраль, и сейчас наполняющий необъятную равнину своим бодрым и мощным дыханием.

Жан сравнил нынешнее свое пробуждение с пробуждениями под парижским небом, таким же нечистым, как его, Жана, любовь, и почувствовал себя счастливым и свободным. Он вышел на террасу. Белый от солнца дом еще спал - все его окна были закрыты, как глаза у спящего человека. Жану хотелось побыть одному и опомниться, хотелось насладиться тем душевным возрождением, первые признаки которого он ощущал в себе.

Сойдя с террасы, он пошел вверх по аллее так называемого парка - на самом деле это была там и сям разбросавшая деревья по крутому склону горы Кастле сосновая и миртовая роща, прорезанная неодинаковой длины тропинками, скользкими от сухих иголок. Пес Чудодей, старый, хромоногий, вышел из конуры и молча последовал за Жаном - в былые времена они часто совершали вдвоем утреннюю прогулку.

При входе на виноградник, где ограждавшие его высокие кипарисы покачивали своими остроконечными вершинами, пес заколебался: он знал, что толстый слой песка - новое средство борьбы с филлоксерой, которое решил испробовать консул, - для его старых лап представляет не меньшие неудобства, чем ступеньки террасы. Однако блаженство идти за хозяином взяло в нем верх, и тут начались мучительные усилия при каждом новом препятствии, боязливые взвизгивания, остановки и неуклюжие движения, похожие на движения краба, ползущего по скале. Жан не обращал на него внимания: он был весь поглощен рассматриванием нового питомника “аликанте”, о котором отец долго рассказывал ему накануне. Лозы, окутанные слежавшимся сверкающим песком, как видно, принялись отлично. Наконец-то бедный отец будет вознагражден за свой упорный труд! Кастле, может быть, еще и оживет, а Нерт, Эрмитаж - все лучшие виноградники юга погибли!

Неожиданно он увидел прямо перед собой белую косыночку. Это была Дивонна, она встала раньше всех. В руке она держала садовый нож и еще какой-то предмет, который она тут же выронила; ее матовые щеки вспыхнули живым румянцем.

- Ах, это ты, Жан!.. Ты меня напугал… Я думала, это твой отец…

Оправившись от испуга, она поцеловала его.

- Спал хорошо?

- Прекрасно, тетя. Но почему вы испугались, что это папа?..

- Почему?..

Дивонна подняла с земли черенок, который она только что перед тем выкинула.

- Консул тебе, наверно, говорил, что на этот раз он уверен в успехе… А ну-ка глянь: вот она, тля…

Жан увидел желтоватую мшинку, как бы вделанную в дерево, едва заметную цвель, - она-то и разорила постепенно целые провинции. По иронии судьбы, с этим крохотным существом, все истребляющим и неистребимым, Жан впервые встретился роскошным утром, под животворящим солнцем!

- Это только начало… Через три месяца она сожрет весь виноград, а твой отец опять примется разводить - тут уж его честь задета. Новые отводки, новые средства, пока наконец…

Жест отчаяния докончил фразу и подчеркнул ее смысл.

- Так что же, значит, дела наши плохи?

- Ты же знаешь консула!.. Он никогда ничего не скажет, каждый месяц аккуратно выдает мне на расходы, но я вижу, что он озабочен. То в Авиньон поедет, то в Оранж. Деньги раздобывает…

- Ну, а Сезер? Как дела с обводнением? - подавленный тем, что сейчас услышал, спросил Жан.

Тут, слава богу, все обстоит благополучно. Прошлогодний урожай дал пятьдесят бочек легкого вина, в этом году они рассчитывают на сто бочек. Потрясенный таким успехом, консул отдал брату всю свою пустовавшую землю, - там тянулись ряды сухих лоз, придававших полю вид сельского кладбища. А теперь вся эта земля три месяца будет под водой.

Гордившаяся деятельностью своего супруга, своего Балбеса, Дивонна показала Жану с высокого места, где они находились, большие пруды, сажалки, в которых благодаря бетонной кромке вода держалась, как в соляных озерах.

- Через два года соберем урожай. Через два года урожай даст и Пибулет и потом еще остров Ламот - твой дядя купил его тайно от всех… Вот тогда мы разбогатеем… А до тех пор нужно продержаться, каждый должен вложить свой труд, каждый должен пойти на жертвы.

Она говорила о жертвах весело, как о чем-то для нее привычном, и с таким непритворным воодушевлением, что Жан, у которого в связи с этим мелькнула одна мысль, не мог не ответить ей в тон:

- Да, Дивонна, мы все пойдем на жертвы…

В тот же день он написал Фанни, что родители не в состоянии поддерживать его, что он вынужден жить только на жалованье и что, следовательно, их совместная жизнь невозможна. Таким образом, Жан порывал с Фанни раньше, чем предполагал, то есть года за три, за четыре до своего отъезда, но он надеялся, что его возлюбленная примет во внимание основательность его доводов, сжалится над ним, войдет в его положение, окажет ему содействие в исполнении прискорбного долга.

Было ли это с его стороны жертвой? Не значило ли это, напротив, снять с себя обузу, которая показалась ему особенно постылой и мерзкой здесь, среди природы, в родной семье, в мире простых и нелицемерных чувств?.. Он отнюдь не исключал возможности, что на письмо, не стоившее ему ни внутренней борьбы, ни страданий, последует гневный ответ, с угрозами и всякого рода нелепостями, и в то же время был уверен, что пережить этот ответ ему поможет чистая и неизменная нежность окружающих его хороших людей, пример отца - этой прямой и гордой натуры, бесхитростная улыбка маленьких “проповедниц”, помогут широкие и мирные дали, здоровый горный воздух, высокое небо, быстрая, бурная река. И когда он думал о своей страсти и о том низменном, что ее пробуждало, ему казалось, что он выздоровел, переболев гнилой лихорадкой, которой дышат болота.

Дней пять-шесть прошли в тишине, какая наступает после удара грома. Жан утром и вечером ходил на почту и возвращался, встревоженный, с пустыми руками… Что с ней? На что она решилась, и, во всяком случае, почему она молчит? Он думал теперь только об этом. По ночам, когда весь Кастле спал под убаюкивающий шум ветра, разгуливавшего по коридорам, он в своей маленькой комнатке разговаривал с Сезером.

- Она сюда нагрянет - с нее станется!.. - уверял дядюшка.

Его беспокойство усиливалось оттого, что он тогда вложил в конверт вместе с прощальным письмом племянника две расписки: одну - сроком на

полгода, другую - на год, с обязательством уплатить проценты. А где он возьмет денег? Как объяснить Дивонне?.. Он дрожал при одной мысли об этом, а племяннику становилось совсем невмоготу, когда полуночничество их кончалось и Сезер, с кислой миной, отчего длинный его нос казался особенно унылым, помахивая трубкой, печально говорил:

- Ну, спокойной ночи… Что бы там ни было, ты поступил правильно.

Наконец ответ пришел, но, прочитав первые строки: “Дорогой ты мой! Я так долго не писала тебе потому, что хотела иначе доказать, как я тебя понимаю и как я тебя люблю…” - Жан в изумлении остановился с видом человека, который вместо ожидаемого кошачьего концерта услыхал симфонию. Он перевернул страницу и в конце прочел: “…я буду тебе до самой смерти верным псом, которого ты можешь бить и который ласкается к тебе со всей своей пылкой любовью…”

Значит, она не получила его письма!.. Но когда Жан прочел ее письмо с начала до конца, и уже со слезами на глазах, то ему стало ясно, что это именно ответ и что Фанни давно была готова к дурной вести о разорении Кастле, которое неминуемо должно повлечь за собой разлуку. Чтобы не висеть у него на шее, она сейчас же начала искать работу и нашла место экономки в меблированных комнатах на авеню Булонского леса, которые содержит одна очень богатая дама. Жалованье - сто франков в месяц, бесплатное помещение и стол, воскресенье - свободный день.

”Понимаешь, мой дорогой? Один день в неделю мы можем всецело принадлежать друг другу. Ведь ты этого хочешь, да? Этим ты меня вознаградишь за то, что я первый раз в жизни поступаю на службу, - а заставить мне себя было очень трудно, - за дневную и ночную кабалу, в которую я добровольно иду, за те унижения, о которых ты понятия не имеешь и которые мне будут особенно тяжелы при том, что я помешана на независимости… Все же я испытываю величайшее удовлетворение от сознания, что я страдаю из любви к тебе. Я тебе стольким обязана, ты меня научил добру, честности - до тебя мне никто об этом не говорил. Ах, если б мы с тобой встретились раньше!.. Но я уже ходила по рукам, когда ты еще лежал в колыбельке. Никто из мужчин не мог бы похвастаться, что ради того, чтобы как-то удержать его, я решилась на такой шаг… Возвращайся, когда захочешь, наша квартира не занята. Я собрала все свои вещи. Самое тяжелое - это копаться в ящиках и в воспоминаниях. Оставила я только

свой портрет, но это тебе ничего не будет стоить, кроме ласковых взглядов, - больше я тебя ни о чем не прошу. Ах, дружочек, дружочек!.. Словом, если ты оставишь за мной воскресенье и еще местечко около твоей шеи, помнишь?..”

А дальше пошли нежности, ласковые имена, в которых чувствовалось наслаждение кошки, облизывающей котят, страстные признания, заставлявшие Госсена водить себя по лицу листком глянцевитой бумаги, словно от этого листка исходила теплая, душевная ласка.

- А о моих расписках она ничего не пишет? - робко осведомился дядя Сезер.

- Она вам их возвращает… Отдадите долг, когда разбогатеете…

Дядюшка облегченно вздохнул, зажмурился от удовольствия, а затем не менее торжественно, чем г-н Прюдом, но с резко выраженным южным акцентом проговорил:

- Знаешь, что я тебе скажу?.. Эта женщина - святая.

Но по свойственной ему ветрености, непоследовательности, забывчивости, повинуясь одной из причуд его нрава, мысли его тут же приняли другое направление.

- А сколько чувства, мой милый, сколько огня! У меня в горле пересохло, как это было со мной, когда Курбебесс читал мне письма Морна…

Дядюшка опять начал рассказывать о своей первой поездке в Париж, об отеле Кюжа, о Цыпочке, но Жан не слушал его и думал о своем, сидя у окна, распахнутого в тихую светлую ночь, до того лунную, что петухи, приняв луну за солнце, приветствовали ее своим пением.

Так, значит, поэты пишут правду об искупляющей силе настоящей любви?.. Жан испытывал гордое чувство при мысли, что все эти великие люди, все эти знаменитости, которых Фанни любила до него, не только не способствовали ее духовному возрождению, но, напротив, еще больше развращали ее, а он одной лишь своею порядочностью отвратит ее от порока.

Он был признателен ей за то, что она нашла нечто среднее, пошла на полуразрыв, при котором у нее наконец образуется привычка к труду, столь тягостному для ее недеятельной натуры. На другой день Жан написал ей в отечески-наставительном духе письмо; он одобрял ее решение, но выражал опасения по поводу того, что это за меблированные комнаты, что за люди там живут, - он боялся ее снисходительности, той бездумности, с какой она покорялась обстоятельствам: “Ну, а как же теперь быть? Ничего не поделаешь…”

С каждой почтой Жан получал от Фанни письма, в которых она с послушливостью маленькой девочки рисовала ему картину меблированных комнат - семейного дома, заселенного иностранцами. На втором этаже - перуанцы: папа, мама, детки и многочисленная прислуга. На третьем - русские и богатый голландец, торгующий кораллами. На четвертом - два наездника с ипподрома: во всем чисто английский шик, люди вполне порядочные. Самая интересная пара - это фрейлейн Минна Фогель, цитристка из Штутгарта, и ее брат Лео, маленький, слабогрудый; по болезни он вынужден был уйти из парижской консерватории, где он учился играть на кларнете, и тогда старшая сестра приехала ухаживать за ним; оба живут только на выручку с ее концертов, которой хватает обоим на полный пансион.

”Как видишь, мой дорогой, все это очень трогательно и благородно. Я схожу за вдову, и все ко мне в высшей степени внимательны. Впрочем, если бы дело обстояло иначе, я бы этого не потерпела; к твоей жене все должны относиться с уважением. Пойми правильно, в каком смысле я употребляю выражение “твоя жена”. Я знаю, что рано или поздно ты от меня уйдешь, что я тебя потеряю, но после тебя у меня никого не будет; я навсегда останусь твоею, навсегда сохраню ощущение ласк и те добрые чувства, которые ты пробудил во мне… Добродетельная Сафо! Смешно, не правда ли?.. Да, я стану добродетельной, когда тебя не будет со мной, а для тебя я останусь такою, какой ты меня полюбил: раскаленной и исступленной. Я тебя обожаю…”

Неожиданно для самого себя Жан заскучал. После возвращения блудного сына, после того как радость свидания схлынет, после того как заколют упитанного тельца, после сердечных излияний неизменно вступают в свои права повседневные заботы первобытной жизни, сетования по поводу того, что желуди в этом году плохие и что пастух не

справляется со стадом. Наступает разочарование и в людях и в предметах, внезапно сбрасывающих с себя покровы, внезапно линяющих. Провансальские зимние утра потеряли для Жана свою бодрящую веселость, его уже не увлекала ни охота по берегу реки на выдру - красивого темно-бурого зверька, ни стрельба по уткам в тростниковых зарослях - владениях старика Абрие. Ветер казался Жану резким, вода - холодной, прогулки по затопленным виноградникам и пояснения дядюшки, толковавшего о системе подъемных затворов, шлюзов, оросительных канав, - неимоверно скучными.

От села, на которое Жан первое время смотрел сквозь воспоминания о том, как он здесь носился резвым мальчишкой, от всех этих ветхих лачуг, иные из которых были заброшены, веяло смертью и запустением, как от итальянских деревень. По дороге на почту он слышал, как, сидя на шатких ступеньках каменных крылец, переливали из пустого в порожнее согнутые в три погибели, надевшие на руки для тепла паголенки от старых чулок старики и туго завязавшие свои косынки старухи с блестящими бегающими глазками, как у ящериц, что водятся в старых стенах, с подбородками, точно из желтого самшита.

И все те же неизменные жалобы на гибель виноградников, на то, что конец пришел и марене, на то, что болеет шелковица, на то, что семь египетских казней опустошили благодатный Прованс. Чтобы избежать подобных встреч, он иногда возвращался домой по гористым улочкам, мимо крепостных стен папского замка, улочкам пустынным, заросшим высокой травой - “травой святого Рока”, помогающей от лишаев и как нельзя более подходившей к этому уголку средневековья, на который с вершины холма падала тень от развалин.

Тут Жан неизменно встречал священника Маласаня, только что отслужившего мессу и со съехавшими набок брыжами, обеими руками придерживая край сутаны, чтобы она не зацепилась за колючки, большими сердитыми шагами спускавшегося с горы. При встрече с Жаном он останавливался и начинал громить безбожников крестьян и мерзавцев из муниципалитета. Он призывал кару небесную на злаки, на тварей бессловесных и на людей - на этих разбойников, которые перестали ходить в храм, хоронят без погребения, не обращаются ни к доктору, ни к священнику, верят в целительную силу магнетизма и спиритизма.

- Да, сударь, спиритизма! Вот до чего дошли провансальские крестьяне!.. А вы удивляетесь, отчего гибнут виноградники!..

В кармане у Госсена лежало распечатанное пламенное послание от Фанни, и он слушал проповедь священника рассеянно, старался как можно скорее от него отделаться, а вернувшись домой, забивался в щель в скале, где он был защищен от ветра, неистовствовавшего вокруг, и куда солнечный свет падал отраженно.

Госсен выбирал самую глухую, самую дикую щель, заросшую падубом и колючим кустарником, и там перечитывал письмо. Исходивший от него тонкий аромат, ласковые слова, встававшие в воображении картины - все это сладко кружило ему голову, у него учащенно бился пульс, и в конце концов он доходил до галлюцинаций: и река, и соцветия островков, и села в ущельях Альпин, и неоглядная холмистая равнина, по которой вихрь катил, гнал волны пронизанной солнцем пыли, исчезали, как ненужная декорация. Госсен был там, у них в комнате, напротив вокзала с его серой крышей, и предавался ярости ласк, безумству желаний, сцеплявшему их обоих, как утопающих, которые судорожно хватаются друг за друга…

И вдруг шаги на тропинке и звонкий смех:

- Вот он где!..

В лаванде мелькали босые ножки его сестренок, которых вел старый Чудодей, гордый тем, что навел их на след хозяина, и победоносно махавший хвостом. Но Жан отпихивал его ногой и отвергал робкие предложения сестер поиграть в прятки или в догонялки. А ведь он любил малолетних близнецов, обожавших старшего брата, который жил так далеко! Приехав в родной дом, он стал ребячиться ради них, забавлялся несходством этих двух хорошеньких девочек, родившихся в одно время и таких разных. Одна из них - длинная, черноволосая, кудрявая, религиозная и вместе с тем своевольная. Ей-то под влиянием того, что им читал священник Маласань, и пришла мысль о лодке, и эта малолетняя Мария Египетская заразила своим увлечением белокурую Марту, несколько вялую, смирную, похожую на мать и на брата.

Но когда Госсен ворошил свои воспоминания, как же девочки ему надоедали своими невинными, младенческими ласками, которые

примешивались к кокетливому аромату, пропитывавшему письмо возлюбленной!

- Нет, нет, не приставайте… Я занят делом…

Он шел домой с намерением запереться у себя в комнате, но его перехватывал отец:

- Это ты, Жан?.. Послушай, что я тебе скажу…

Час получения почты навевал мрачные думы на этого угрюмого от природы человека, приучившего себя на Востоке к многозначительному молчанию, которое здесь прерывалось воспоминаниями, разгоравшимися, как сухие дрова: "Когда я был консулом в Гонконге…" Отец читал вслух газеты и высказывал свое мнение по поводу прочитанного, а Жан в это время разглядывал бронзу, купленную двадцать лет назад, в пору процветания Кастле, и поставленную на камин, - разглядывал "Сафо" работы Каудаля, ее руки, обхватившие колени, и лиру подле нее. "Все звуки лиры…" И вот эта продажная бронза, вызывавшая у Госсена отвращение на парижских витринах, здесь, в его уединении, пробуждала в нем чувство влюбленности, - ему хотелось целовать эти плечи, расцепить эти холодные гладкие руки, вырвать у нее признание: "Я Сафо для тебя, но больше ни для кого!"

Когда он выходил из кабинета, пленительный образ вставал, шел рядом с ним, он слышал свои и его шаги, поднимаясь по широкой парадной лестнице. Имя Сафо выстукивал маятник старинных часов, его шептал ветер в летней половине дома, в длинных холодных коридорах с плитчатым полом, Жан находил его в книгах деревенской библиотеки, в старых толстых книгах с красным обрезом, до сих пор хранивших между страницами крошки от его детских завтраков. Неотступное воспоминание о возлюбленной преследовало его и в комнате матери, где Дивонна, причесывая больную, поднимала ее красивые седые волосы над лицом, по-прежнему спокойным и румяным, несмотря на многообразные и непрекращающиеся страдания.

- А вот и наш Жан! - говорила мать.

Но тетя Дивонна, с голой шеей, в косыночке на голове, с подвернутыми рукавами, которые она засучивала для того, чтобы убрать больную, - эту

церемонию не имел права совершать никто, кроме нее, - воскрешала в его памяти совсем другие утра и чем-то напоминала ему опять-таки его любовницу, в облаке дыма от первой папиросы спрыгивавшую с постели. Жан злился на себя за это, особенно в комнате матери. Но как отогнать от себя подобные мысли?

- Наш мальчик уже не тот, что прежде, сестрица, - говорила г-жа Госсен. - Что с ним?

Они вместе старались найти объяснение. Дивонна напрягала свой наивный ум, хотела даже поговорить с племянником, но он явно сторонился ее, избегал оставаться с ней наедине.

Однажды она за ним проследила и застала его в той же глухой щели - он был вне себя от перечитанных писем и от мучительных видений. Заметив Дивонну, он с мрачным видом встал. Она удержала его, села рядом с ним на нагретый солнцем камень.

- Ты меня разлюбил?.. Я для тебя уже не та Дивонна, с которой ты делился всеми горестями?

- Ну что ты, что ты!.. - растроганный ее ласковой речью, пробормотал он и отвел глаза, чтобы она не уловила в них отблеск вычитанного им только что в письмах: любовных призывов, воплей отчаяния, бреда страсти на расстоянии.

- Что с тобой?.. Отчего ты такой грустный?.. - шептала Дивонна, стараясь приголубить его, как малого ребенка, приголубить и голосом и рукой. Отчасти он ведь и был ее ребенком, он перешел на ее попечение десяти лет, в том возрасте, когда маленькие человечки получают большую самостоятельность.

Жана, возбужденного письмом, воспламенила волнующая прелесть этого красивого тела, которое было сейчас так близко от него, воспламенили свежий рот, разрумянившиеся от сильного ветра щеки, волосы, которые ветер по столичной моде тонкими завитками уложил на лбу. Он вспоминал наставления Сафо: “Все женщины одинаковы… Когда перед ними мужчина, у них одно в голове…” - и в светлой улыбке Дивонны, в движении ее руки, которым она удерживала его, чтобы учинить ласковый допрос, ему почудилось что-то вызывающее.

У него закружилась голова. Он боролся с собой, боролся с таким упорством, что по телу его пробежала судорога. Он был бледен, зубы у него стучали, и это напугало Дивонну.

- Бедненький!.. У тебя лихорадка…

В приливе нерассуждающей нежности она сняла с себя широкий платок, которым была стянута ее талия, и только хотела повязать ему шею, как вдруг почувствовала, что ее сжали, сдавили мужские объятия, ощутила ожоги страстных поцелуев на затылке, на плечах, на своем золотистом нагретом теле. Она не успела крикнуть, не успела отвести его руки; вернее всего, она даже не сознавала, что происходит.

- Я сумасшедший!.. Я сумасшедший!..

С этими словами он бросился бежать от нее вверх по горе, и вот он уже далеко, и только слышно, как с зловещим стуком осыпаются камни у него под ногами.

В тот же день Жан объявил за завтраком, что его вызывает министр и что он уезжает сегодня вечером.

- То есть как? Ты уезжаешь?.. Ты же говорил… Да ведь ты только недавно приехал!..

Последовали восклицания, мольбы. Но он не мог здесь оставаться - родственные отношения мутило то будоражащее, то тлетворное, что вызывала в нем Сафо. Притом он уже принес во имя семьи огромную жертву - отказался от совместной жизни с Фанни. Окончательный разрыв произойдет позднее, и тогда он вернется домой, расцелует всех этих милых людей, и в его отношение к ним уже не примешается чувство неловкости, чувство стыда.

Сезер, провожавший племянника на авиньонский поезд, вернулся, когда в доме было темно и все уже легли. Он засыпал лошадям овса и, посмотрев на небо характерным для людей, живущих землей, испытующим взглядом, старающимся угадать погоду, направился к дому, как вдруг увидел сидящую на террасе белую фигуру.

- Дивонна! Это ты?

- Я. Я тебя ждала…

Весь день проходил у нее в трудах, она совсем не видела своего обожаемого Балбеса, и только по вечерам они сходились поговорить, гуляли вдвоем. Но что нынче с Дивонной? Подействовало ли на нее так сильно то мгновенное, что произошло между Жаном и ею и в чем она после - увы! - отдала себе полный отчет, или же тихие слезы матери Жана, проплакавшей целый день? Голос у нее дрожал от душевного смятения, необычного для этой сильной женщины, преисполненной сознания своего нравственного долга.

- Ты что-нибудь знаешь? Почему он так неожиданно уехал?..

Выдумке насчет министерства она не верила, - она скорей подозревала пагубную привязанность, отрывавшую мальчика от семьи. Сколько опасностей, сколько роковых встреч подстерегает человека в этом окаянном Париже! Сезер, ничего не умевший скрывать, рассказал Дивонне, что в жизни Жана действительно появилась женщина, но что это - доброе создание, что она не станет настраивать его против родных. Он привел доказательства ее преданности, сообщил о трогательных письмах, которые она писала Жану сюда, и особенно похвалил ее за мужественное решение поступить на службу, а крестьянка Дивонна восприняла это решение как нечто совершенно естественное:

- Чтобы жить, надо работать.

- Для подобного сорта женщин это не так, - заметил Сезер.

- Стало быть, Жан связался с пустой бабенкой!.. А тебе она сумела втереть очки!..

- Уверяю тебя, Дивонна, как только они сошлись, она стала необыкновенно благонравной, вполне порядочной женщиной… Любовь переродила ее.

Но все это были слова чересчур мудреные, и Дивонна не могла взять их в толк. Она причисляла эту даму к отбросам общества, к той породе, которую она называла породой “дурных женщин”, и мысль, что ее Жан попался в лапы к такой особе, возмущала ее. Если бы консул знал!..

Сезер пытался ее успокоить: на каждой морщинке его добродушного лица с плутоватым выражением было написано, что в возрасте Жана без женщины не обойдешься.

- Ну, тогда что ж, пускай женится! - сказала Дивонна, мягко, но убежденно.

- Да ведь они больше не будут жить вместе, это решено…

- Послушай, Сезер… - веско заговорила она. - Знаешь, как у нас говорят? Злодея и след простыл, а зло остается… Если все, что ты мне сказал, правда, если Жан выволок эту женщину из грязи, он, наверно, сам измазался, покуда занимался этим нелегким делом. Очень может быть, что она благодаря ему стала лучше, порядочней, но дурное-то в ней все-таки было, так еще неизвестно, не развратило ли оно нашего мальчика до мозга костей!

Они шли обратно к террасе. Мирная и ясная ночь раскинулась над замершей долиной; жизнь была лишь в трепетном сиянии луны, в шуме реки да в отливавших серебром прудах. Здесь все дышало тишиной, уединением, безбрежным покоем сна без видений. И вдруг послышался глухой шум поезда, на всех парах поднимавшегося в гору по берегу Роны.

- Ох уж этот Париж!.. - сказала Дивонна и, вкладывая в свой жест всю ненависть провинции к столице, погрозила ему кулаком. - Ох, Париж!.. Что мы тебе даем и что ты нам возвращаешь!

VII

Было четыре часа дня, пронизанного холодным туманом, темного даже здесь, на широкой авеню Елисейских Полей, по которой с мягким, приглушенным стуком неслись экипажи. Стоя у раскрытой калитки, Жан с трудом мог разобрать видневшиеся в глубине большие золотые буквы вывески над антресолями дома, имевшего вид роскошного и тихого коттеджа: “Меблированные комнаты, семейные номера”. У тротуара кого-то дожидалась двухместная карета.

Отворив дверь в контору, Жан сейчас же увидел ту, ради которой он сюда пришел: она сидела так, что свет из окна падал прямо на нее, и перелистывала толстую бухгалтерскую книгу, а напротив сидела другая женщина, высокая, элегантная, и держала в руках носовой платок и сумочку, какие бывают у мелких биржевых спекулянток.

- Что вам угодно, сударь?..

Фанни при виде его сперва обомлела, потом вскочила с места и, проходя мимо высокой дамы, шепнула:

- Это мой мальчик…

Дама окинула взглядом Госсена и с той завидной невозмутимостью знатока, которая достигается опытом, громко, не стесняясь, проговорила:

- Поцелуйтесь, дети мои… Я на вас не смотрю.

Она пересела на место Фанни и снова углубилась в цифры.

Жан и Фанни, взявшись за руки, обменялись глупыми фразами:

- Как поживаешь?

- Ничего, спасибо…

- Ты выехал вчера вечером?..

Истинный смысл словам придавали их взволнованные голоса.

Они сели на диван и постепенно справились с волнением.

- Ты не узнал мою хозяйку?.. - шепотом спросила Фанни. - А ведь ты ее видел… на балу у Дешелета, она была в испанском подвенечном уборе… С тех пор новобрачная постарела.

- Так, значит, это…

- Росария Санчес, любовница де Поттера.

Росария, или иначе Роса, имя которой писали пальцами на всех зеркалах

в ночных ресторанах с неизменным добавлением какой-нибудь сальности, была когда-то наездницей цирка Ипподром и славилась в мире кутил своим разнузданным цинизмом, изощренностью ругательств и особым шиком, с каким она рассекала воздух хлыстом, - и все это пользовалось бешеным успехом среди клубных завсегдатаев, которыми она правила не хуже, чем лошадьми.

Испанка, уроженка Орана, она была не столько красива, сколько мила, и при соответствующем освещении ее карие глаза и сросшиеся брови могли еще производить впечатление. Но здесь, даже при этом неверном свете, она выглядела не моложе своих пятидесяти лет - возраст был ясно обозначен на ее плоском, грубом лице, на морщинистой коже, желтой, как испанский лимон. С Фанни Легран ее связывала многолетняя дружба; это она выводила Фанни в свет, и одно имя ее привело Госсена в ужас.

Фанни, поняв, что означает дрожь его руки, начала оправдываться… К кому еще она могла обратиться в поисках места? Положение было безвыходное. К тому же Роса утихомирилась; она богата, очень богата, живет в своем особняке на авеню Вилье или в своей вилле в Энгьене, принимает у себя узкий круг старых друзей, и любовник у нее только один, все тот же - композитор.

- Де Поттер?.. - спросил Жан. - А я думал, он женат.

- Да, женат… У него есть дети… Жена даже, кажется, красивая. Но это не помешало ему вернуться к былой привязанности… А если б ты знал, как она с ним разговаривает, как обращается!.. В грош его не ставит!..

Фанни с ласковым укором жала Госсену руку. В эту минуту дама оторвалась от своего занятия и обратила внимание, что ее сумочка подпрыгивает на цепочке.

- Да перестань!.. - прикрикнула она и, обратившись к экономке, повелительным тоном сказала: - Дай мне кусочек сахару для Гаденыша.

Фанни принесла кусок сахару и, расточая ласкательные и уменьшительные, сунула его в открытую сумку.

- Посмотри, какой милый зверушка, - сказала она своему возлюбленному, и тот увидел в сумке, на ватной подстилке, подобие

огромной ящерицы, безобразное, шершавое, зубчатое, гребенчатое, с головой в виде капюшона на дрожащем студенистом теле. Это был хамелеон, его прислали Росе из Алжира, и она охраняла его от парижской зимы бережным уходом и искусственным теплом. Ни одного мужчину она не обожала так, как этого хамелеона, и по тем приторным нежностям, которые разводила Фанни, Жан ясно представил себе, какое положение занимает в доме эта мерзкая тварь.

Собираясь, видимо, уходить, Роса захлопнула книгу.

- Для конца месяца недурно… Только смотри, чтоб не было перерасхода свечей.

Она обвела взглядом хозяйки содержавшуюся в полном порядке комнатку, где стояла мебель, обитая жатым плюшем, сдула пыль с юкки на круглом столике, заметила дырку в гипюровой занавеске, а потом заговорщицки подмигнула Фанни и Жану:

- Предупреждаю, детки: без глупостей!.. У меня дом приличный…

На улице ее дожидался экипаж, и она отправилась на прогулку в Булонский лес.

- Если б ты знал, как мне все это опостылело!.. - сказала Фанни. - Они у меня вот где сидят - она и ее мамаша… Мамаша является сюда два раза в неделю. Она еще хуже, еще сквалыжней… Если б я тебя не любила, я бы часу не осталась в этом заведении. Но ты здесь, ты еще мой!.. Я так боялась!..

Она обвилась вокруг него, надолго прильнула к нему губами и по трепетности его поцелуя тотчас удостоверилась, что он еще весь в ее власти. Но в коридоре ходили взад и вперед, надо было соблюдать осторожность. В комнату внесли лампу, Фанни, прихватив вязанье, села на свое обычное место, а он с видом гостя сел рядом.

- Изменилась я, правда?.. Не похоже это на меня?..

Фанни улыбалась, показывая глазами на крючок, которым она орудовала с неумелостью маленькой девочки. Всю жизнь ненавидела она рукоделие. Чтение, игра на рояле, куренье, приготовление незатейливых блюд, для

каковой цели она закатывала рукава до локтей, - вот ее обычные занятия. Ну, а чем прикажете заниматься здесь? В гостиной стоял рояль, но днем она обязана была находиться в конторе и о рояле даже мечтать не смела… Читать романы? Она знала гораздо больше случаев из жизни. Запрещенную папиросу ей заменяло вязание кружев - руки у нее были заняты, думать же она могла о чем угодно, и теперь она уже не презирала это занятие, она поняла, почему женщины так любят рукодельничать.

Чересчур прилежная от неопытности, она неловко поддевала соскальзывавшую с крючка нить, а Жан любовался ее спокойной позой, ее простеньким платьем со стоячим воротничком, ее гладко причесанными волосами, античной формой ее головы, всем ее добропорядочным, благопристойным обликом. А там за окном нескончаемой вереницей тянулись из Булонского леса по направлению к шумным парижским бульварам взгромоздившиеся на фаэтоны модные девицы, щеголявшие роскошью выезда. Фанни, казалось, не испытывала зависти к выставлявшему себя напоказ, торжествующему пороку: она ведь тоже могла бы принять участие в его торжестве, но она пожертвовала этим ради Жана и оттого не завидовала. Только бы ей хоть изредка видеть его, а со своей подневольной жизнью она смирилась и даже находила в ней нечто забавное.

Жильцы обожали ее. Иностранки, начисто лишенные вкуса, советовались с ней при покупке туалетов. По утрам она давала уроки пения старшей перуаночке. Мужчины спрашивали у нее совета, что почитать, что посмотреть в театре, относились к ней с глубоким уважением, были с ней в высшей степени предупредительны, особенно один - голландец с третьего этажа.

- Он садится - вот где ты сейчас сидишь - и смотрит на меня не отрываясь, до тех пор, пока я ему не скажу: “Купер! Вы мне надоели”. На это он отвечает: “Карашо” - и удаляется… Это он мне подарил коралловую брошку… Знаешь, она стоит сто су. Я взяла, чтобы он отвязался.

Коридорный принес на подносе обед и, подвинув юкку, поставил поднос на край круглого столика.

- Я обедаю здесь одна, за час до общего обеда.

Она указала ему в довольно разнообразном и длинном перечне два блюда, которые ей сейчас принесли. Экономка имела право всего на три блюда, включая первое.

- Росария - это такая сука!.. А впрочем, мне даже нравится обедать здесь. Не надо ни с кем разговаривать, я перечитываю твои письма, и они заменяют мне общество.

Ей пришлось прервать разговор, чтобы достать скатерть и салфетки. Вообще ее поминутно отрывали: то она отдавала распоряжения, то вынимала что-то из шкафа, то удовлетворяла чье-то требование. Жан понял, что он ей невольно мешает. А потом ее скудный обед: эта мисочка с супом, от которой шел пар, эта порция на одного вызвала у них обоих сожаление, им обоим стало грустно, что они уже не обедают, как прежде, вдвоем.

- До воскресенья!.. До воскресенья!.. - провожая его, шептала она.

Так как поцеловаться они не могли - из-за прислуги, из-за жильцов, она взяла его руку и долго держала у сердца: ей хотелось, чтобы он ощутил тепло ее ласки.

Весь вечер и всю ночь он думал о ней и мучился, что ей приходится раболепствовать и унижаться перед этой стервой и ее огромным ящером. В довершение всего ему не давал покою голландец, - словом, он не чаял, как дождаться воскресенья. В сущности, их полуразрыв, который должен был исподволь подготовить Фанни к концу их отношений, был для них тем же, чем для дерева бывает подрезка, после которой усталое дерево оживает. Они переписывались почти ежедневно - их руки, писавшие нежные записочки, подталкивало нетерпение влюбленных. Иной раз Жан заходил к ней прямо из министерства, и, сидя в конторе, они целый час, пока ей можно было заниматься рукоделием, говорили о любви.

В меблированных комнатах она сказала про него: “Это мой родственник…” И, прикрываясь этим расплывчатым наименованием, он мог кое-когда провести вечерок в гостиной, за тысячу миль от Парижа. Он познакомился с семьей перуанцев с бесчисленными перуаночками в безвкусных, кричащих туалетах, - когда они рассаживались кругом всей гостиной, то напоминали длиннохвостых попугаев на жердочках; слушал,

как фрейлейн Мина Фогель играет на убранной лентами цитре, напоминавшей увитую хмелем тычину; смотрел на ее брата, больного, говорившего шепотом, порывисто качавшего головой в такт музыке и пробегавшего пальцами по воображаемому кларнету - единственному инструменту, на котором ему не запрещалось играть. Госсен играл в вист с пресловутым голландцем - толстым, лысым, неприятным увальнем, изъездившим все океаны. Когда голландца расспрашивали об Австралии, где ему довелось прожить несколько месяцев, он, вращая глазами, отвечал вопросом на вопрос: “Угадайте: почем в Мельбурне картофель?..” Где бы он ни был, его везде поражало только одно: дороговизна картофеля.

Душой этих сборищ была Фанни: она беседовала, пела, разыгрывала роль светской, обо всем осведомленной парижанки. То же, что оставалось в ней от богемы, от натурщицы, чужеземцы или вовсе не улавливали, или же считали проявлением высшего шика. Она козыряла знакомством с известными художниками и писателями, рассказывала одной русской даме, увлекавшейся Дежуа, как он писал свои романы, сколько чашек кофе выпивал за ночь, называла точную смехотворную сумму, которую нажившиеся на его “Сандеринетте” издатели уплатили автору этого замечательного произведения. Успех Фанни в обществе наполнял Госсена гордостью до такой степени, что он даже не ревновал ее, и если бы кто-нибудь поставил ее сведения под сомнение, он, не задумываясь, постарался бы доказать ее правоту.

Он любовался ею в этой мирной гостиной, освещенной лампами с абажурами, любовался тем, как она разливает чай, как она аккомпанирует перуаночкам, как на правах старшей сестры дает им советы, и в то же время ощущал особую, острую прелесть в том, чтобы представить ее себе сейчас совсем иною: вот она приходит к нему в воскресенье утром, продрогшая, мокрая от дождя, и вместо того чтобы подойти к камину, который всегда растапливается к ее приходу, поспешно раздевается у широкой кровати и, юркнув под одеяло, прижимается к своему возлюбленному. А затем объятия и долгие поцелуи вознаграждали их за все неприятности, приключившиеся на прошлой неделе, за разлуку, животворившую их любовь.

Часы шли, путались в сознании. Любовники лежали в постели до вечера. Вне этого их ничто не занимало, ничто не радовало, они никого не видели, даже Эттема, ради экономии переехавших за город. Около них стоял

нетронутый легкий завтрак. К ним, в их небытие, долетал шум парижского воскресного дня, шлепавшего по уличной грязи, свистки паровозов, громыхание колес по мостовой. И только дождь, барабанивший по цинковому навесу над балконом, да частый стук их сердец подчиняли известному ритму этот уход от жизни с потерей всякого представления о времени, длившийся до самых сумерек.

Напротив них зажигали газ, по стене скользил бледный луч. Пора вставать - в семь часов Фанни должна быть на месте. В комнатном полумраке она надевала так и не высохшие ботинки, белье, платье экономки - черную форменную одежду бедных женщин, и все, что накипало у нее за неделю, подступало ей сейчас к горлу.

Особенно горько ей было смотреть на любимые вещи, на мебель, на маленькую туалетную, напоминавшую о счастливых днях…

Наконец она отрывалась от него:

- Пойдем!..

Чтобы подольше побыть вместе, Госсен провожал ее. Тесно прижавшись друг к другу, они медленно шли по авеню Елисейских Полей - ее фонари, выстроившиеся в два ряда, встававшая из мрака Триумфальная арка вверху, редкие звездочки, проколовшие край небосвода, все это составляло как бы фон диорамы. На углу улицы Перголезе, около пансиона, Фанни поднимала вуалетку для последнего поцелуя и уходила, а он оставался один, растерянный, ненавидевший в эту минуту свое обиталище, куда он старался вернуться как можно позднее, он проклинал свою бедность и готов был упрекать родных в том, что ради них пошел на эту жертву.

Фанни и Жан влачили такое существование еще около трех месяцев, и под конец оно стало совершенно невыносимым, тем более что Жану пришлось сократить свои посещения меблированных комнат, чтобы заткнуть рот прислуге, а Фанни окончательно выводила из себя скупость мамаши и дочки Санчес. Она лелеяла мечту вновь соединиться со своим возлюбленным в уютной их квартирке, чувствовала, что он изнемогает так же, как и она, но ждала, чтобы он заговорил об этом первый.

В одно апрельское воскресное утро Фанни, одетая понаряднее, в круглой шляпке, в весеннем платье, простеньком, потому что дорогое было не по

карману, но оттенявшем красоту ее фигуры, зашла за Госсеном.

- Вставай скорей! Поедем завтракать за город…

- За город?..

- Да, в Энгьен, к Росе… Она приглашает нас обоих…

Жан отказывался, Фанни настаивала: Роса этого не простит.

- Ну, для меня!.. Я, по-моему, сделала для тебя немало.

Над Энгьенским озером, на краю широкой луговины, спускавшейся к маленькой пристани, где покачивались ялики и гондолы, стояла большая, богато украшенная и обставленная дача, потолки и зеркальные панели которой отражали подернутую искрами воду и чудесный парк, уже трепетавший ранней зеленью буков и гроздьями расцветшей сирени. Безукоризненные ливреи лакеев и тщательно вычищенные дорожки делали честь неусыпному надзору Росарии и старухи Пилар.

Фанни и Жан приехали, когда все уже сидели за столом: им неправильно показали дорогу, и они долго блуждали вокруг озера, в проходах между высокими оградами садов. В крайнее замешательство привели Жана холодный прием хозяйки, обозлившейся на то, что они заставили себя ждать, ее голос, как у ломового извозчика, и необычайный вид старых парок, которым Роса представила гостя, - трех “модниц”, как в этом мире называют перворазрядных кокоток, трех обветшалых потаскух, трех знаменитостей времен Второй империи, имена которых - Уилки Коб, Облапоша и Клара Сумасбродка - пользовались тогда не меньшей известностью, чем имена крупных поэтов и увенчанных славой полководцев.

Они вполне оправдывали название “модниц”: они и сегодня оделись по последней моде, их весенние туалеты, их воротнички, их ботинки радовали глаз своим изяществом, но сами-то они уже увяли, их прелесть нуждалась в подкраске, в подмалевке. Облапоша, безбровая, с померкшими глазами, с выпяченной нижней губой, все шарила вокруг своей тарелки, вилки, бокала. Сумасбродка, рыхлая, прыщавая, с грелкой у ног, вытянула на скатерти скрюченные от подагры персты, унизанные сверкавшими перстнями, которые ей так же трудно, так же сложно было надевать, как и

снимать. Девичья талия поджарой Коб подчеркивала уродливость ее испитого, как у истощенного клоуна, лица, на которое падали рыжие патлы. После того как она разорилась и все имущество ее пошло за долги, она отправилась в Монте-Карло попытать счастья в последний раз, но вернулась оттуда без единого су, да к тому же еще по уши влюбленная в смазливого крупье, который пренебрег ею. Роса подобрала ее, подкармливала и всюду хвасталась своим благодеянием.

Все три женщины знали Фанни, и разговаривали они с ней покровительственно: “Как поживаешь, детка?” И то сказать: в платье из материи по три франка за метр, с красной брошью - подарком Купера - в виде единственного украшения, она выглядела новобранкой среди этих жутких ветеранок щегольства, казавшихся уже совершенными призраками на фоне роскоши, при ярком свете озера и неба, вливавшемся в дверь столовой вместе с благоуханием весны.

Тут же сидела старуха Пилар, Chinge [3 - Chinge - искаженное французское слово singe - обезьяна.], как она сама себя называла на смеси французского с испанским, форменная макака с бескровным, морщинистым лицом, в искаженных чертах которого сквозило какое-то злобное лукавство, подстриженная под мальчишку, так что седые ее волосы не закрывали ушей, в старом платье из черного атласа с широким голубым матросским воротником.

- А вот господин Гаденыш!.. - представив Жана гостям, объявила Роса и показала ему комок розовой ваты на скатерти, на котором дрожал от холода хамелеон.

- А почему меня не знакомят? - наигранно веселым тоном спросил верзила с седеющими усами, в светлом, застегнутом на все пуговицы пиджаке, державшийся, пожалуй, даже чересчур прямо.

- Верно, верно… А Татав? - со смехом спросили женщины.

Хозяйка процедила сквозь зубы его имя.

Это был де Поттер, ученый-музыкант, прославленный автор “Клавдии” и “Савонаролы”, и Жан, видевший его мельком у Дешелета, сейчас с изумлением отметил, что у выдающегося композитора повадка обывателя, что вместо лица у него деревянная гладкая маска и что глаза у него

тусклые, хотя в них и проглядывала безумная, неизлечимая страсть, давным-давно привязавшая его к этой мерзавке, заставившая его бросить жену и детей и сделаться приживальщиком в доме, где он просаживал свое большое состояние, свой доход со спектаклей и где с ним обращались хуже, чем с лакеем. Надо было видеть, какие уничтожающие взгляды бросала на него Роса, когда он что-нибудь рассказывал, как презрительно обрывала его. А Пилар переплевывала дочь - она всякий раз прибавляла тоном, не допускающим возражений:

- Саткнис, мой мальчик!

Сидеть рядом с Пилар, слушать, как чавкают, словно пережевывая жвачку, ее старческие отвислые губы, перехватывать инквизиторский взгляд, каким она осматривала тарелку своего соседа, было для Жана настоящей пыткой, еще усугублявшейся насмешливым тоном Росы, изображавшей Фанни на музыкальном вечере в меблированных комнатах и легковерных богачей иностранцев, принимавших экономку за обедневшую светскую даму. Бывшая наездница, полная нездоровой полнотой, с десятитысячефранковыми кабошонами в ушах, явно завидовала своей подруге, возврату ее молодости и красоты, которым та была обязана этому юному красавцу. А Фанни нисколько не сердилась; напротив, она забавляла общество, высмеивала жильцов: перуанца, который, тараща свои белые глаза, признавался ей, что ему хочется познакомиться с какой-нибудь знаменитой кокуткой, или голландца с его странным способом за ней ухаживать: сидя сзади нее, он пыхтел, как паровоз, и лишь изредка нарушал молчание: “Укатайте: почем в Батавии картофель?”

Госсену было не до смеха, и Пилар тоже: она следила за тем, как бы не пропали серебряные ложки, или же ловко била мух то на своем приборе, то на рукаве у соседа, а затем, ласково приговаривая: “Кушай, mi amta [4 - Моя душенька (исп.).], кушай, mi corazon [5 - Мое сердце (исп.).]!” - кормила ими разлегшуюся на скатерти гнусную тварь, захиревшую, бесформенную и опухшую, как пальцы Сумасбродки.

Разогнав уцелевших мух и углядев жертву на буфете или же на стеклянной двери, она вставала и с торжеством ловила ее. Частые эти набеги в конце концов вывели из себя ее дочь, а она и так сегодня решительно была не в духе.

- Что ты вскакиваешь каждую минуту? Меня это раздражает.

А мать ей ответила на той же смеси двух языков:

- Вы-то сами лопаете, bos otros [6 - Искаженное испанское слово vosotros - вы.]… А ему нельзя?

- Или выйди из-за стола, или сиди смирно… Ты нам надоела…

Старуха огрызнулась, и тут обе начали ругаться, как ругаются ханжи-испанки, мешая образы ада и дьявола с площадной бранью:

- Hija del demonio!

- Cuerno de Satanas!

- Puta!..

- Mi madre!

Жан смотрел на них в ужасе, а гостьи, привыкшие к подобного рода семейным сценам, продолжали спокойно утолять аппетит. Только де Поттер, которому стало неловко перед посторонним, попытался унять их:

- Да будет вам!

Но Роса в бешенстве обернулась к нему:

- Да ты-то чего вмешиваешься?.. Что это еще за манера?.. Хочу говорить и буду говорить!.. А ты ступай к жене!.. Ты мне осточертел - у тебя глаза как у дохлой рыбы, а на голове три волоса… Вот и отнеси их своей индюшке, давно пора!..

Де Поттер выслушал ее с улыбкой, но слегка побледнев.

- Хорошенькая жизнь!.. - пробормотал он себе под нос.

- Вольному воля!.. - прорычала она, всей грудью навалившись на стол. - А то знаешь, двери открыты: фюить!.. Брысь!..

- Успокойся, Роса!..

Тусклые глаза несчастного де Поттера смотрели на нее умоляюще.

А мамаша Пилар, снова принявшись за еду, с такой комической невозмутимостью бросила ему: “Заткнись, мой мальчик!..” - что все покатились с хохоту, даже Роса, даже де Поттер, - он обнял свою все еще ворчавшую возлюбленную, а затем, чтобы умаслить ее, поймал муху, бережно взял за крылышки и преподнес Гаденышу.

И это был де Поттер, прославленный композитор, гордость Национальной школы! Как удалось приворожить его этой женщине, грубой, погрязшей в пороках, да еще вкупе с мамашей, присутствие которой делало ее еще более отвратительной, ибо, точно сквозь увеличительное стекло, показывало, какою Роса станет двадцать лет спустя?..

Кофе подали на берегу озера, в маленьком гроте “рокайль”, внутри обтянутом светлым шелком, по которому скользила тень от воды, - в уютном гнездышке для поцелуев, представлявшем собою плод воображения писателей XVIII века, - и его вделанное в потолок зеркало отражало сейчас все ужимки рассевшихся на широком диване старых парок, осовевших после обильной трапезы, отражало Росу с пробившимся сквозь румяна естественным румянцем на щеках, уронившую руки на плечи де Поттера.

- О мой Татав… Мой Татав!..

Однако очень скоро пламя шартреза пересилило пламя любви, и когда одной из дам пришла мысль покататься на лодке, Роса послала де Поттера.

- Но только лодку! Слышишь? Лодку, а не “норвежку”!

- Я скажу Дезире…

- Дезире завтракает.

- В лодке полно воды, надо ее вычерпать, это не так-то просто…

- С вами пойдет Жан… - чтобы предотвратить новую бурю, сказала Фанни.

Они сидели в лодке на скамейках друг против друга и, раздвинув колени, сосредоточенно вычерпывали воду, не обмениваясь ни словом, ни взглядом, словно завороженные той размеренностью, с какой вода выплескивалась из черпаков. Высокая катальпа, вычерчиваясь на ослепительно сверкавшей поверхности озера, простирала над ними душистую прохладу.

- Давно вы связаны с Фанни? - прекратив на время свое занятие, неожиданно спросил композитор.

- Два года… - слегка смутившись, ответил Госсен.

- Всего лишь два года!.. Ну, тогда то, чему вы только что явились свидетелем, может, пожалуй, послужить вам предостережением. Я живу с Росой двадцать лет, двадцать лет прошло с тех пор, как я, вернувшись из Италии - я тогда получил Римскую премию, - однажды вечером пошел в цирк и увидел ее на повороте круга: стоя на одноколке и размахивая хлыстом, она пролетела мимо меня в шлеме, на котором красовались острия пик - их было восемь, - и в кольчуге с золотыми блестками, не доходившей до колен. Ах, если б кто-нибудь мне тогда сказал!..

Снова взявшись за черпак, он начал свой рассказ с того, что на первых порах все только посмеивались над его связью. Когда же дело приняло серьезный оборот, то сколько его родители потратили усилий, сколько они уговаривали его, на какие только жертвы ни шли, чтобы добиться разрыва! Они откупались от нее, но он снова к ней возвращался.

- Испытаем еще одно средство - путешествие, - сказала его мать.

Он отправился в путешествие, возвратился и снова сошелся с наездницей. Тогда его женили на хорошенькой женщине с богатым приданым; в качестве свадебного подарка - обещание, что он будет академиком… Но уже через три месяца он оставил жену ради былой привязанности…

- Ах, молодой человек, молодой человек!..

Де Поттер рассказывал о себе тусклым голосом, и ни один мускул не дрогнул на его маскообразном лице, неподвижном, как крахмальный воротничок, из-за которого ему приходилось держать голову прямо. А

мимо них проезжали лодки со студентами и девушками, брызгавшие песнями, молодым и хмельным смехом. Многим из этих несмышленышей следовало бы остановиться и выслушать в поучение страшный рассказ де Поттера…

В тот день у Росы все словно сговорились повлиять на Фанни и разлучить ее с Жаном; в гроте старые модницы наперебой взывали к ее благоразумию:

- Красив твой миленок, но ведь в кармане-то ни гроша… Что с тобой будет?..

- А если я его люблю?..

Роса пожала плечами:

- Да оставьте вы ее!.. Она и своего голландца упустит, как упустила на моих глазах все благоприятные случаи… После истории с Фламаном она кое-чему как будто научилась, а теперь опять за свое; такая же взбалмошная, как и была, даже еще хуже!

- Ay, Vellaca!.. [7 - Правильно: ay, bellaca (исп.). Здесь в смысле: “Ах ты, дрянь этакая!..”] - проворчала мамаша Пилар.

Тут похожая на клоуна англичанка заговорила с диким акцентом, который долго способствовал ее успеху:

- Полюбить всей душой человека - это прекрасно, моя деточка… Любовь, знаете ли, вещь хорошая… Но вы должны любить еще и деньги… Если я богатая сейчас, как вы думать: мой крупье, что я уродина, сказал бы?..

Тут на англичанку налетел порыв ярости, и голос у нее поднялся до визга.

- Ах, как это ужасно!.. Славиться во всем мире, быть всесветной, быть всем известной, как… как памятник, как… как бульвар… такой известной, что вы сказал: последнему извозчику: “Уилки Коб!” - и он уже знать, где это… Я имела принцы под мои ноги, а короли, когда я плевала, короли говорили: “Красиво плюнула!” А теперь эта мерзкая прощелыга брезгует

мной, потому что, видите ли, я безобразный, и я даже не имею чем заплатить ему за одну ночь.

Мысль, что крупье посмел назвать ее уродиной, терзала Коб, и наконец, не выдержав, она распахнула платье:

- Лицо - yes [8 - Да (англ.).], не спорю, но все остальное: грудь, плечи… Это вам что: не белизна? Это вам что: не упругость?..

Она бесстыдно оголяла свое тело - тело ведьмы, каким-то чудом оставшееся молодым после тридцатилетнего пребывания в адском пекле, а шея и лицо у нее высохли, как у покойницы.

- Лодка готова!.. - крикнул де Поттер.

Англичанка упрятала под платье все, что у нее еще оставалось от молодости, и комически-сокрушенно проговорила:

- Как жаль, что я не могу повсюду ходить гоулоя!..

На фоне пейзажа Ланкре, на фоне кокетливой белизны вилл, особенно ярко сверкавшей среди свежей зелени, вилл, с их террасами и лужками, сбегавшими к озерцу, чешуйчатому при свете солнца, жутью веяло от лодки, принявшей на борт дряхлых и убогих жриц любви: ослепшую Облапошу, старого клоуна и скрюченную Сумасбродку, пропитывавших след от кормы мускусным запахом грима.

Жан, согнувшись, сидел за веслами, и ему было стыдно и страшно: ведь его могут увидеть знакомые в этом аллегорическом зловещем челне и, пожалуй, подумают, что он исполняет какие-то неблаговидные обязанности. Утешением служила ему Фанни: она сидела возле руля, которым правил де Поттер, она ласкала и взор и душу Госсена, и никогда еще ее улыбка не казалась ему такой молодой, - вернее всего, по контрасту.

- Спой нам что-нибудь, деточка!.. - попросила Сумасбродка, разомлев от весеннего воздуха.

Фанни своим выразительным и глубоким голосом запела баркаролу из “Клавдии”, а композитор, откликнувшись на зов своего первого большого успеха, подражал с закрытым ртом оркестровому сопровождению,

набегающему на мелодию, словно искристая рябь, подергивающая водную гладь. При ярком свете, да еще среди такой красоты, это было чудесно. С террасы одной из вилл долетело: “Браво!” Провансалец, мерно взмахивавший веслами, жадно впивал божественные звуки из уст своей возлюбленной, им овладевало страстное желание прильнуть к ее устам, как в жаркий день припадают к роднику, и, не поднимая головы, не отрываясь, пить, пить, пить.

Росу это созвучие голосов, видимо, раздражало, и вдруг она, рассвирепев, оборвала кантилену:

- Эй вы, певуны! Долго вы еще будете мурлыкать у нас над ухом?.. Вы воображаете, что эта панихида доставляет нам удовольствие?.. Нет, с нас довольно… Да ведь уже и поздно, Фанни, пора в клетку…

Яростным взмахом руки Роса показала на ближайшую пристань.

- Причаливай!.. - сказала она своему любовнику. - Отсюда им будет ближе до станции…

Это прозвучало резко, как внезапное увольнение, но бывшая наездница приучила свое окружение к подобным выходкам, и никто не посмел возразить ей. Фанни и Жана высадили на берег, Жану на прощанье было сказано несколько холодно-любезных слов, Фанни шипящим тоном были отданы распоряжения, и лодка отошла берега, взметая споры и крики, а затем вода - отличный проводник звука - донесла до слуха влюбленных оскорбительный взрыв хохота.

- Слышишь? Слышишь? - побледнев от злобы, сказала Фанни. - Это она над нами издевается…

При этом последнем оскорблении к горлу ее прихлынули все прежние унижения, все прежние обиды, она перечисляла их по дороге на станцию, рассказывала даже о том, что до сего времени скрывала. Роса только и думает, как бы разлучить их, учит ее, как обманывать его.

- Она же меня натравливала на этого голландца!.. Не далее как сегодня они все на меня напали… Я тебя люблю по-настоящему, понимаешь? И моя любовь раздражает это порочное существо, а ведь она страдает всеми пороками, самыми отвратительными, чудовищными. Ну, а я больше не

хочу, и вот она…

Заметив, что Жан побледнел и что губы у него дрожат, как в тот вечер, когда он рылся в нечистотах ее писем, Фанни остановилась.

- Не бойся!.. - сказала она. - Твоя любовь излечила меня от всех этих мерзостей. Меня тошнит и от ее вонючего хамелеона, и от нее самой.

- Тебе нельзя там оставаться… - охваченный болезненной ревностью, сказал Госсен. - Кусок хлеба, который ты там зарабатываешь, вывалян в грязи. Давай снова жить вместе - как-нибудь выкрутимся.

Она давно ждала этого вопля души, она его вызывала. Однако для виду она воспротивилась, привела в качестве довода, что вдвоем им не прожить на триста франков в месяц, которые он получает в министерстве, как бы не пришлось потом опять расставаться…

- А мне так было горько уходить из нашей милой квартирки!..

Сбочь дороги тянулись телеграфные столбы, провода с обсевшими их ласточками, кусты акации, а под кустами через некоторые промежутки попадались скамейки. Чтобы удобнее было разговаривать, Жан и Фанни сели на одну из таких лавочек - оба были крайне взволнованы и крепко держали друг друга за руку.

- Триста франков в месяц… - повторил Жан. - Живут же Эттема на двести пятьдесят!..

- Они переехали за город, в Шавиль.

- Ну, так и мы переедем - я за Париж не держусь.

- Правда?.. Ты правда хочешь, чтобы мы переехали?.. Ах, дружочек, дружочек!

По дороге шли прохожие, промчались ослики, увозя гостей, всю ночь прогулявших на свадьбе, Жану и Фанни неудобно было целоваться, и они сидели неподвижно, прижавшись друг к другу и мечтая о том обновленном счастье, каким они будут наслаждаться в летние вечера, дышащие полевым покоем и той теплой тишиной, которою сейчас выстрелами из карабинов и

звуками шарманки спугивало вдали пригородное веселье.

VIII

Они поселились в Шавиле, между взгорьем и низиной, у старой лесной дороги, которая называлась Лесничьей, в бывшем охотничьем домике, на опушке леса. Домик состоял из трех комнат ненамного больше тех, какие они занимали в Париже; сюда они перевезли и свою скромную обстановку: плетеное кресло, разрисованный шкаф; в спальне скрашивал убожество зеленых обоев только портрет Фанни - во время переезда сломалась рамка от вида Кастле, и теперь фотография выцветала на чердаке

С тех пор как переписка между дядюшкой и племянницей оборвалась, ни Жан, ни Фанни больше не заговаривали о злополучном Кастле. “Хорош друг!..” - говорила Фанни, вспоминая, что Балбес легко переметнулся и одобрил намерение племянника порвать с ней. Все новости сообщали Жану сестренки, а Дивонна молчала. То ли она все еще сердилась на племянника, то ли боялась, что эта нехорошая женщина вернулась к Жану и теперь станет распечатывать и обсуждать ее скромные, исполненные материнской заботливости письма, разбирать ее мужицкие каракули.

По утрам, когда Жана и Фанни будили своим пением Эттема, вновь ставшие их соседями, и шум поездов, беспрестанно встречавшихся так близко от Лесничьей дороги, что сквозь ветви деревьев обширного парка можно было разглядеть бегущие вагоны, новоселам казалось, что они опять переехали на Амстердамскую. Но вместо тускло блестевшей стеклянной крыши Западного вокзала, вместо вокзальных окон без занавесок, за которыми виднелись согбенные фигуры чиновников, вместо визгливого скрипа колес экипажей, поднимавшихся по гористой улице, за их садиком, по обеим сторонам которого были тоже сады, были домики, вместе с купами деревьев сбегавшие вниз по склону холма, простиралась тихая пленительная зелень лесов.

Перед тем как ехать на службу, Жан завтракал в маленькой столовой с раскрытым окном, выходившим на широкую мощеную, поросшую травой дорогу, по обочинам которой рос колючий кустарник с горько пахнувшими

белыми цветами. По этой дороге он в десять минут доходил до станции мимо шумевшего и щебетавшего парка. Когда же он возвращался домой, шум стихал по мере того, как зеленую, обрызганную багрянцем заката дорогу все плотнее окутывал ползший из глубины парка мрак, а кукушечий оклик, доносившийся со всех концов, перерезали гремевшие в кустах соловьиные трели.

Но вот Фанни и Жан кое-как устроились на новом месте, удивление перед окружавшей их мирной жизнью прошло, и Жан вновь сделался жертвой ревности, пытливой, но бесплодной. Разрыв между Фанни и Росой и уход Фанни из меблированных комнат сопровождались чудовищными и двусмысленными обвинениями с обеих сторон, и эти обвинения подняли со дна его души прежние подозрения, мучительнейшие из всех его сомнений. И когда он, уезжая, смотрел из вагона на их низенький домик с круглым слуховым окошком, взгляд его сверлил стену. “Как знать?” - говорил он себе, и эта мысль преследовала его, пока он не углублялся в служебные бумаги.

Вернувшись домой, он учинял Фанни допрос, как она провела день, выспрашивал все до последней мелочи, пытался угадать ее мысли, порою вовсе незначащие, старался подловить ее: “О чем ты сейчас думаешь?.. Сию минуту?..” - он боялся, что она сожалеет о чем-нибудь или о ком-нибудь из своего ужасного прошлого, о котором она, впрочем, рассказывала ему теперь с невозмутимой откровенностью.

Пока они, истосковавшись за неделю, виделись только по воскресеньям, он не тратил драгоценного времени на словесные обыски, тщательные и обидные. Но как только они сблизились вновь, стали жить под одной крышей, в душе у них стало расти глухое раздражение, их угнетало щемящее чувство - чувство непоправимого, и они мучили друг друга даже в часы ласк, даже в мгновенья самых тесных объятий: он изнурял себя, пытаясь вызвать у этой пресыщенной любовью женщины еще не изведанную ею остроту ощущений, а она готова была пойти на любые муки, лишь бы доставить ему радость, какой он не испытывал ни с одной женщиной, и, видя свое бессилие, плакала от ярости.

Затем наступило затишье: быть может, на них в конце концов успокоительно подействовало обволакивающее тепло природы, а быть может, всего-навсего соседство Эттема. Дело в том, что из всех супругов,

живших под Парижем, никто, пожалуй, так не наслаждался деревенским привольем, как они, никто так не ценил блаженство донашивать старье, ходить в соломенных шляпах, блаженство женщины - не надевать корсета, блаженство мужчины - ходить в матерчатых туфлях, блаженство по выходе из-за стола выносить уткам хлебные крошки, а кроликам - очистки, блаженство полоть грядки, орудовать граблями, делать прививки, поливать.

Ах, поливка, поливка!..

Как только супруг, вернувшись со службы, менял чиновничий мундир на костюм Робинзона, муж и жена немедленно принимались за поливку. После обеда опять начиналась поливка, и когда уже воцарялась ночь, из темного садика, дышавшего свежими испарениями влажной земли, все еще доносился скрип насоса, стук ударяющихся одна о другую больших леек, мощное сопение, перекочевывавшее от грядки к грядке, плеск воды, которая, казалось, стекала со лба неутомимых тружеников в сито леек, и - время от времени - торжествующие возгласы:

- Я вылил тридцать два на сахарный горох!..

- А я четырнадцать на бальзамины!..

Этим людям недостаточно было быть счастливыми - каждый из них любовался счастьем другого, и при виде того, как они умеют им наслаждаться, у вас слюнки текли от зависти. Особенно вкусно рассказывал муж, как хорошо им было зимовать тут вдвоем:

- Сейчас еще что! А вот вы увидите, как здесь в декабре!.. Приезжаете грязный, мокрый, тащите на себе всякую парижскую чепуху, а дома у вас топится печечка, горит лампочка, вы втягиваете в себя дивный запах горячего супа, а под столом вас ждут туфли с соломенными стельками. Ну, а потом, когда вы скушаете сосиски с капусткой и швейцарского сыру, который мы храним в холодном месте, завернутым в тряпочку, да запьете винцом, неразбавленным и неподкрашенным, до чего приятно придвинуть кресло к огню, закурить трубочку и попивать кофе с ликерчиком, а затем, сидя друг против дружки, вздремнуть маленько под шум дождя!.. Но только самую малость, чтобы дать перевариться пище… Затем немножко почертишь, а жена в это время убирает со стола, хлопочет по хозяйству,

стелет постель, кладет грелку, ложится первая, и вот когда ты прыгаешь на тепленькое местечко и укрываешься простыней и одеялом, во всем теле такое ощущение, будто тебя завернули в вату…

Этот бородатый великан с тяжелой нижней челюстью, обычно до того застенчивый, что он двух слов не мог выговорить, не покраснев и не заикнувшись, обретал дар красноречия, как только разговор заходил о вещах материальных.

Этой безумной застенчивости, составлявшей комический контраст с его черной бородой и фигурой колосса, он был обязан своей женитьбой и душевным спокойствием. В двадцать пять лет он был сильным, здоровым юношей, но все еще не знал любви, не знал женщин, и вот однажды, в Невере, после сытного ужина приятели, воспользовавшись тем, что он подвыпил, затащили его к девицам и заставили сделать выбор. Он вышел оттуда потрясенный, потом опять пошел туда, выбрал опять ту же, заплатил за нее выкуп и увел к себе, а потом, из страха, что ее могут у него отнять и ему придется еще кого-то завоевывать, женился на ней.

- Вот тебе, дорогой мой, законный брак!.. - торжествующе смеясь, говорила Фанни Жану, который слушал ее с ужасом. - И из всех известных мне браков этот еще самый чистоплотный, самый добропорядочный.

Фанни утверждала это со всей искренностью своего неведения: семейные дома, куда ей удавалось проникать, конечно, с ее точки зрения, иной оценки и не заслуживали. Да и все ее представления о жизни были не менее ложны и не менее искренни.

Так они жили под умиротворяющим воздействием соседства супругов Эттема, всегда ровных, способных даже оказать услугу, только не обременительную, больше всего на свете боявшихся скандалов, ссор, в которых, хочешь не хочешь, пришлось бы принять участие, - словом, всего, что могло повредить нормальному пищеварению. Супруга попробовала научить Фанни разводить кур и кроликов, соблазнить ее целебной прелестью поливки, но из этого ничего не вышло.

Возлюбленная Госсена, уроженка парижской окраины, прошедшая через мастерские художников, любила выезды на природу, любила гулять за городом, любила природу за то, что там можно шуметь, валяться на траве,

уединиться с кавалером. Она ненавидела усилия, труд. Шесть месяцев, которые она прослужила в меблированных комнатах, надолго истощили ее жизнедеятельность, и теперь на нее накатила разнеживающая оцепенелость полусна, ее пьянило это блаженное состояние, пьянил чистый воздух, пьянил настолько, что ей лень было одеться, лень причесаться, лень поднять крышку фортепьяно.

Возложив все заботы по дому на прислугу, местную жительницу, Фанни, поджидая Жана и вспоминая минувший день, чтобы дать Жану подробный отчет, ничего не могла припомнить, кроме визита к Олимпии Эттема и пересудов за их оградой, а единственным вещественным знаком ее времяпрепровождения служили выкуренные папиросы, груды окурков, грязнивших мрамор каминной полочки. А ведь уже шесть часов!.. Она едва успевает надеть платье, приколоть к корсажу цветок и идет по зеленой дороге встречать его…

А когда настала осень с туманами, с дождями, с короткими днями, у Фанни оказалось множество предлогов не выходить из дому. Жан часто заставал ее теперь все в той же белой шерстяной гандуре с широкими складками, которую она надевала утром, а волосы у нее все еще были закручены в папильотки. Она ему нравилась и такой: он любовался ее девичьим затылком, он не ощущал преграды между собой и ее влекущим, покорным, холеным телом. Но эта ее опасная расслабленность коробила его и пугала.

Он сам сначала работал, как вол, чтобы не обращаться за денежной помощью в Кастле, просиживал ночи напролет над работой, которую ему давал Эттема: над планами, над чертежами артиллерийских орудий, зарядных ящиков, новой системы винтовок, но природа и уединение действуют разлагающе даже на наиболее сильные, наиболее деятельные натуры, а Госсен неожиданно для себя всецело поддался этому влиянию, которое оказалось для него тем неотразимей, что в его душу забросило семя разнеженности проведенное в глуши раннее детство.

При постоянном общении с их упитанными соседями - то они к Эттема, то Эттема к ним, - Госсену и его возлюбленной сообщалась, передавалась их погруженность в домашний быт, и, постепенно опускаясь, невольно заражаясь их волчьим аппетитом, они тоже начали серьезно обсуждать, что приготовить завтра на обед и в котором часу лучше всего ложиться спать.

Сезер прислал им бочку своей “водички”, и они все воскресенье разливали ее по бутылкам в своем погребке, в распахнутую дверь которого заглядывало осеннее солнце и голубое небо в облаках, розовых, как цветы вереска. Близился час туфель с теплыми соломенными стельками, час подремыванья друг против друга у огня, в котором жарко горели чурки… К счастью, судьба готовила им развлечение.

Как-то вечером, вернувшись со службы, Жан заметил, что Фанни чем-то очень расстроена. Олимпия рассказала ей историю несчастного малыша, воспитывавшегося у бабушки в Морване. Отец, торговец дровами, и мать жили в Париже, давно бабушке не писали, перестали посылать деньги на мальчика. Бабушка скоропостижно скончалась, тогда матросы по Ионнскому каналу препроводили мальчугана в Париж, чтобы сдать его на руки родителям, но они никого не нашли. Дровяной склад закрыт, мать сбежала с любовником, отец, пьяница, прогорел и куда-то исчез… Вот вам и законный брак! Прелестный мальчик, голодный, холодный, остался, бедняжка, на улице.

Фанни было жалко его до слез. Потом вдруг ее осенило.

- Не взять ли нам его?.. Как ты думаешь?

- Ты с ума сошла!

- А что?..

Она стала к нему ластиться.

- Ты знаешь, как я мечтала иметь ребенка от тебя. Этого крошку мы воспитаем, дадим ему образование. К приемышам привязываются скоро и любят их, как родных детей…

Она упирала на то, что это будет ей развлечение: ведь она же целый день одна, так и одуреть можно, невольно разные глупости в голову лезут. Ребенок - это ангел-хранитель. Поняв, что Жана пугают расходы, Фанни отвела и это возражение:

- Да какие там на него расходы!.. Ведь ему же шесть лет!.. Можно будет перешить на него твои старые вещи… Олимпия - женщина расчетливая, так вот она меня уверяет, что это расход незаметный.

- Тогда что же она сама его не берет? - заметил Жан с той раздражительностью, какую испытывает человек, побеждаемый собственной слабостью.

Однако он еще не сложил оружия и привел решительный довод:

- Ну, а когда меня здесь не будет?..

Чтобы не огорчать Фанни, он почти не заговаривал с ней о своем отъезде, но думал о нем часто, и эта мысль служила ему ограждением от женитьбы и отгоняла мрачные предсказания де Поттера.

- Ребенок страшно усложнит нашу жизнь, и какая это будет обуза для тебя в дальнейшем!..

Взор Фанни застлала слеза.

- Ты ошибаешься, дружочек: мне будет с кем поговорить о тебе, это будет мое утешение, мне будет о ком заботиться, ради кого трудиться, ради кого жить…

Он немного подумал, представил ее себе совершенно одну в опустевшем доме.

- А где малыш?

- В Ба-Медоне, один матрос взял его к себе на несколько дней… А дальше - приют. Отдел общественного призрения.

- Ну, раз тебе так хочется, съезди за ним…

Фанни прыгнула Жану на шею и потом весь вечер, по-детски радуясь, счастливая, возбужденная, преображенная, играла и пела. На другой день Жан, сидя в вагоне, поделился своим решением с толстяком Эттема - у Эттема был такой вид, что он обо всем осведомлен, но не желает в это дело вмешиваться. Он забился в уголок, уткнулся в “Маленькую газету”, и из зарослей его бороды исходило невнятное бормотание:

- Да, я знаю… Дамы - они всегда… Меня это не касается…

Затем над сложенным вдвое газетным листом показалась его голова.

- По-моему, ваша супруга - натура чересчур романтическая, - добавил он.

Какая бы натура ни была у Фанни, романтическая или не романтическая, но только в тот же вечер Фанни с отчаянным видом стояла на коленях, держа в руках тарелку с супом, и старалась приручить мальчонку из Морвана, а тот стоял в позе, выражающей упорство, опустив свою громадную голову с льняными волосами, и наотрез отказывался разговаривать, есть или хотя бы показать лицо, - он все только повторял на одной ноте звонким от природы голосом, который он сейчас искусственно приглушал:

- Хочу к няньке, хочу к няньке…

- Так он, наверно, называл свою бабушку… За два часа я только это из него и вытянула.

Жан тоже было попытался влить в него суп, но безуспешно. Так они оба долго стояли на коленях, для удобства кормления сделавшись одного роста с ним, она - с тарелкой, он - с ложкой, точно перед больным ягненком, старались подбодрить его, обласкать.

- Давай сядем за стол, а то мы, должно быть, стесняем его. Не будем на него смотреть, авось он тогда поест…

Но дикаренок продолжал стоять как вкопанный, повторяя свою жалобу: “Хочу к няньке”, - надрывавшую им сердце, и наконец, стоя, прислонившись к буфету, уснул крепким сном, так что им удалось раздеть его и уложить в тяжелую деревенскую люльку, которую им дал сосед, и он ни на секунду не раскрыл глаз.

- Погляди, какой он хорошенький! - говорила гордая своим приобретением Фанни и заставляла Госсена любоваться упрямым лбом мальчугана, тонкими и нежными чертами его лица, покрытого деревенским загаром, тем, как чудесно сложено его маленькое тело, его плотной спиной, полными руками, ногами, как у маленького фавна, длинными, жилистыми, с пушком на голенях. Она вся ушла в созерцание детской красоты.

- Укрой его, он замерзнет… - сказал Жан, и Фанни вздрогнула, как при внезапном пробуждении.

Пока она бережно укрывала малыша, он несколько раз протяжно всхлипнул - это по поверхности сна все еще расходились круги его горя.

Ночью он говорил во сне:

- Няня!.. Позыбь меня!..

- Что он говорит?.. Послушай!..

Мальчик хотел, чтобы его зыбили, но что означает это местное речение? Жан на всякий случай протянул руку и принялся раскачивать тяжелую колыбель. Мало-помалу ребенок затих и уснул, держа в своей пухлой шершавой ручонке руку, как ему казалось, “няни”, хотя няню две недели тому назад схоронили.

В доме словно завелся дикий кот - мальчишка царапался, кусался, ел отдельно, рычал, когда кто-нибудь протягивал руку к его тарелке. Те несколько слов, которые удавалось из него вытянуть, он произносил на варварском наречии морванских дровосеков - без помощи Эттема, тамошних уроженцев, их невозможно было понять. И все-таки нежные заботы и ласка постепенно его приручали, “мало-маленько”, как он выражался. Он согласился сменить обноски, в которых его сюда привели, на чистую и теплую одежду, а первые дни попробуй только ее к нему поднести - сейчас “вызверится”: это было все равно что на шакала надеть попонку, какие надевают на комнатных собачек. Он научился есть, сидя за столом, обращаться с ложкой и с вилкой, а когда спрашивали, как его зовут, он отвечал, что “его звать Жозаф”.

Что касается других элементарных представлений, то с этим надо было еще подождать. Он вырос в дебрях, в хижине угольщика, его голову - упрямую голову лесовичка - наполнял слитный гул шумливого и копошливого леса, как наполняет раковину шум моря. И не было никакой возможности наполнить ее чем-либо еще, и ни в какую погоду он не мог усидеть дома. В дождь, в метель, в дни, когда безлистые, покрытые инеем деревья звездчатыми кораллами тянулись к небу, мальчик убегал из дому, колотил по кустам палкой, с беспощадной ловкостью заядлого охотника обшаривал норы. Когда же голод загонял его домой, то в подоле его

бумазейной курточки, которую он ухитрялся разодрать в клочья, в карманах штанишек, снизу доверху забрызганных грязью, можно было обнаружить полузадушенного или дохлого зверька - крота, лесную мышь, птичку или, на худой конец, выдернутую в поле свеклу, картошку. Никакими силами нельзя было вытравить из него браконьерские и хищнические инстинкты, к которым примешивалась еще чисто крестьянская страсть подбирать блестящие вещицы: медные пуговицы, гагатовые бусы, свинцовую бумажку от шоколада, - все это “Жозаф” собирал, как сорока-воровка, и, зажав в кулаке, уносил в одному ему известные тайники. Своей добыче он дал общее, неопределенное наименование - “припасы” (он произносил “прррипасы”), и ни уговоры, ни подзатыльники на него не действовали: он упорно продолжал прррипасать - за чей угодно счет.

Только супруги Эттема держали его в страхе: у чертежника на столе, вокруг которого шнырял дикаренок, чей взгляд приковывали компас и цветные карандаши, лежала плетка, и Эттема в любую минуту мог до нее дотянуться и огреть мальчишку по ногам. Но ни Жан, ни Фанни к подобным средствам не прибегали, а мальчонка был по-прежнему скрытен, недоверчив, по-прежнему дичился их, как они его ни баловали: можно было подумать, что “нянька”, умирая, лишила его способности выражать свои чувства. Фанни еще удавалось чуточку подержать его на коленях, потому что от нее “воняло чем-то приятным”, а по отношению к Госсену, который был с ним неизменно ласков, он продолжал оставаться все тем же диким зверьком, как и в первый день своего появления в этом доме: он смотрел на него подозрительно и выпускал когти.

Эта непобедимая, почти инстинктивная отчужденность приемыша, любопытствующее лукавство, какое выражали его голубые глазенки с ресницами, как у альбиноса, а главное - внезапная и нерассуждающая нежность Фанни к чужому ребенку, вторгшемуся в их жизнь, возбудили в душе у Госсена новые подозрения. Может быть, это ее ребенок, воспитывавшийся у кормилицы или у свекрови? С появлением мальчика совпала кончина Машом, о которой им стало известно, - такое совпадение усиливало душевные муки Госсена. По ночам, когда мальчик хватал его руку своей детской ручонкой, - ему, сонному, грезилось, что это рука “няньки”, - Госсен мысленно обращался к нему с вопросом, выраставшим из его невысказанного душевного смятения: “Откуда ты? Кто ты?” - и надеялся, что ребенок вместе с теплом, исходившим от его маленького

тельца, выдаст ему тайну своего рождения.

Но все его опасения улетучились от одного слова дядюшки Леграна; Легран пришел с просьбой, чтобы ему помогли заплатить за ограду на могиле жены, и, увидев люльку “Жозафа”, крикнул дочери:

- Э, да у вас ребенок!.. Рада, небось?.. А то ведь тебе все не хватало силенки.

Госсен был так счастлив, что заплатил за ограду, даже не попросив показать ему счета, и уговорил дядюшку Леграна остаться обедать.

Красный от выпитого вина и от предрасположения к апоплексии, всегда веселый, с приветливым выражением лица, в кожаной шляпе с толстым, черным, в знак траура, шнурком, придававшим ей сходство со шляпой факельщика, старый извозчик, служивший теперь на конке Париж - Версаль, был в восторге от приема, оказанного ему дочерью и г-ном Госсеном, и с того дня стал у них изредка обедать. Его белые, как у полишинеля, волосы, свисавшие на гладкое, одутловатое лицо, его осанка - осанка степенного пропойцы, почтение, с каким он относился к своему кнуту, та бережность няньки, с какой он его ставил, с какой он его устраивал в надежном месте, - все это производило на мальчика большое впечатление, и очень скоро старый да малый крепко подружились. Как-то раз к концу обеда пришли Эттема.

- Ах, извините, вы нынче по-семейному!.. - жеманясь, воскликнула г-жа Эттема, и это слово, оскорбительное, как пощечина, ударило Жана по лицу.

Хороша семья!.. Уронивший голову на скатерть и посапывавший приемыш, старый, впадающий в слабоумие прощелыга, с трубкой в углу рта, скрипучим голосом в сотый раз объясняющий, что веревки для кнута ему хватает на полгода, а кнутовище он двадцать лет не менял… Ну и семья!.. Такая же это его семья, как Фанни Легран - его жена, вот эта самая Фанни Легран, утомленная, постаревшая, в облаке папиросного дыма расслабленно облокотившаяся на стол… Не пройдет и года, как все это вместе с суетой дорожных встреч, с соседями по табльдоту, исчезнет из его жизни.

Но в иные минуты мысль об отъезде, за которую Жан, чувствуя, что опускается, что его тянет на дно, хватался, как за оправдание своей

бесхарактерности, вместо того чтобы подбодрить и утешить, вызывала у него такое ощущение, словно он был опутан множеством нитей, давала ему почувствовать, какою острою болью отзовется в его душе отъезд (это будет не один-единственный разрыв, а несколько разрывов подряд) и чего ему будет стоить выпустить детскую ручонку, которую он держал по ночам. Даже Ла Балю, дрозд, посвистывавший и распевавший в слишком тесной для него клетке (какую ни купишь, мала), где ему приходилось гнуться, как старому кардиналу Ла Балю в его железной клетке, - даже Ла Балю занял уголок в сердце Жана, и выбросить оттуда птицу - Госсен это знал - будет для него мучительно.

А между тем расставание надвигалось неотвратимо. Чудесному июню - празднику природы - видимо, суждено было быть последним месяцем их совместной жизни. Не оттого ли Фанни была так нервна, так раздражительна? Или на нее действовало обучение “Жозафа”, за которое она взялась с неожиданным рвением, к великой досаде маленького морванца, часами просиживавшего над буквами, не называя и не видя их, с поперечной складкой на лбу, напоминавшей засов, каким запираются ворота на фермах? С каждым днем ее чисто женский характер все чаще проявлялся в слезах и диких выходках, в почти беспрерывных сценах, несмотря на то, что Госсен всячески себя сдерживал. Ее выпады были до того оскорбительны, ее нервное состояние разражалось вспышками такой неукротимой ненависти и злобы - злобы на то, что он молод, на то, что он образован, на его родню, на то, что волею судьбы их пути расходятся, - она так метко била его по больным местам, что в конце концов он тоже выходил из себя и отвечал ударом на удар.

Разница заключалась в том, что его злоба не выходила из границ, что, движимый состраданием, доступным человеку благовоспитанному, он не наносил ей таких ударов, которые легко достаются наносящему и больно ранят того, против кого они обращены, а Фанни не знала удержу в своей ярости - ярости продажной девки, бесстыдной, не отвечающей за свои слова, прибегающей к приемам недозволенным, с жестокой радостью следящей, не появилась ли на лице жертвы страдальческая складка, а потом вдруг падала в его объятия и молила о прощении.

Лица супругов Эттема, свидетелей этих ссор, вспыхивавших почти всегда за столом, когда все уже сели и расположились поудобнее, когда осталось только снять крышку с суповой миски или нарезать жаркое,

просились на картинку. Они обменивались через накрытый стол взглядами, исполненными комического ужаса: ну так как же, можно приступать к еде, или жареная баранина сейчас полетит в сад вместе с блюдом, соусом и вареной фасолью?

- Только, пожалуйста, без скандалов!.. - говорили они всякий раз, когда соседи приглашали их к себе. То же самое ответили супруги Фанни, когда в одно из воскресений она обратилась к ним через ограду с предложением позавтракать вместе в лесу… О нет, сегодня никаких раздоров быть не может - уж очень хорошая погода!.. С этим словами Фанни побежала одевать мальчика и наполнять корзинки едой.

Все уже было готово, можно было идти, но в эту минуту почтальон принес ценное письмо, и, увидев на конверте знакомый почерк, Госсен задержался. Догнав компанию на опушке леса, он шепотом сказал Фанни:

- Это от дяди… Он ликует… Урожай чудесный, продан на корню… Дядя возвращает дешелетовы восемь тысяч франков, от всей души благодарит свою племянницу и просит ей кланяться.

- Племянница!.. Такая же, как он мне дядя… У, старый плут!.. - вспыхнула Фанни, не питавшая никаких иллюзий насчет дядюшек с юга, а затем вдруг просияла: - Надо будет как можно выгоднее поместить эти деньги…

Госсен посмотрел на нее с изумлением - он знал ее крайнюю щепетильность в денежных делах…

- Поместить?.. Но это же не твои деньги…

- Ах да, я совсем забыла тебе сказать…

Она покраснела, взгляд у нее стал тусклым - таким он становился у нее при малейшем искажении истины… Славный малый Дешелет, узнав, что они взяли Жозефа, написал ей, чтобы она истратила эти деньги на воспитание ребенка.

- Впрочем, если ты считаешь это неудобным, я могу в любую минуту отдать ему восемь тысяч франков - он сейчас в Париже…

Голоса мужа и жены Эттема, из деликатности ушедших вперед, гулко раздались в лесу:

- Направо или налево?

- Направо, направо!.. К прудам!.. - крикнула Фанни, а затем обернулась к Жану: - Надеюсь, ты не станешь опять мучиться из-за пустяков?.. Какого черта! Мы ведь с тобой не первый день знакомы…

Она много раз видела помертвелую дрожь его губ, знала пытливый взгляд, каким он осматривал малыша с ног до головы, но сейчас это была лишь слабая вспышка ревности. Он привык подчиняться силе привычки, он шел на уступки ради поддержания мира. “Какой смысл терзаться, доискиваться до сути?.. Если это ее ребенок, то вполне естественно, что она его взяла и после всех сцен, после всех допросов, которые я ей устраивал, сказала мне неправду… Не лучше ли примириться с тем, что есть, и спокойно провести оставшиеся несколько месяцев?..”

Сгорбившись, как старый садовник, он покорно, уныло зашагал по неровной лесной дороге, неся угощение для всех в тяжелой, накрытой чем-то белым корзинке, а впереди шли рядом мать и ребенок: “Жозаф”, нарядный, чувствовавший себя неловко в костюмчике “Прекрасная садовница”, стеснявшем его движения, она в светлом пеньюаре, с открытой шеей, с непокрытой головой, над которой она держала японский зонтик, с седой прядью в красивых вьющихся волосах, которую она уже не считала нужным скрывать, расплывшаяся, шедшая ленивой походкой.

В лощине, куда спускалась лесная дорога, маячили супруги Эттема в широченных соломенных шляпах, как у туарегских всадников, в красных фланелевых костюмах: муж тащил снедь, рыболовную снасть, сети, рачешни для ловли раков, а жена, чтобы облегчить мужа, с воинственным видом несла на перевязи охотничий рог, подпирая его своей мощной грудью: для чертежника прогулка в лес без охотничьего рога была не в прогулку. Супруги шли и пели:

Хорошо, когда в чаще осенней

Вдруг затрубит вожак олений,

Хорошо слушать всплески весла…

В репертуаре Олимпии была уйма мещанских романсов. И при мысли о том, где она их впервые услышала и скольким мужчинам пела их потом в бесстыдном полумраке, при затворенных ставнях, вы невольно проникались глубочайшим уважением к мужу, с безмятежным спокойствием вторившему ей в терцию. Под фразой, сказанной одним гренадером при Ватерлоо: “Их так много!” - мог бы, вероятно, подписаться Эттема с его философской невозмутимостью.

Задумчиво глядя вслед монументальной чете, спустившейся в ложбину, Госсен начал тоже спускаться, как вдруг послышался скрип колес поднимающегося в гору экипажа, взрыв неудержимого смеха, детские голоса, и в нескольких шагах от него показалась английская тележка, которую по этой нелегкой дороге тащил ослик; в тележке сидели девочки в ореоле лент и развевающихся волос, а правила осликом тоже, в сущности, девочка, немного постарше тех.

Нетрудно было догадаться, что Жан имел отношение к этой компании, развеселившей детское общество невероятных размеров задами, в особенности - задом толстой дамы с охотничьим рогом; старшей девочке пришлось цыкнуть на тех, кого она везла. Однако еще одна туарегская шляпа вызвала у девочек еще более сильный припадок смешливого буйства, и когда тележка проезжала мимо посторонившегося мужчины, прелестная, слегка смущенная улыбка возницы как бы просила у него прощения и в то же время выражала простодушное удивление по поводу того, что у старого садовника, оказывается, такое нежное и такое молодое лицо.

Он робко поклонился и, сам не зная почему, покраснел. А повозка остановилась на горе, перед развилкой дорог, и вслед за тем загомонили девочки, громко читавшие наполовину смытые дождями названия на указательной таблице: “Дорога к прудам, к Дубу оберегермейстера, Искусственные Логовища, дорога к Велизи…”

Жан обернулся и долго провожал взглядом катившийся по зеленой просеке, пятнистой от солнца и устланной мхом, так что колеса скользили

словно по бархату, белокурый вихрь детства, колесницу счастья, разукрашенного в весенние цвета и смеявшегося на весь лес.

Яростный звук рога мгновенно вывел Жана из задумчивости. Эттема расположились на берегу пруда и уже распаковывали провизию. Издали отчетливо были видны отражавшиеся в прозрачной воде белая скатерть на скошенной траве и красные фланелевые рубашки, как у доезжачих, яркими пятнами выделявшиеся на фоне зелени.

- Скорее!.. Что это вы так разрумянились? - кричал толстяк.

- Это ты на маленькую Бушро загляделся?.. - с раздражением в голосе спросила Фанни.

Жан вздрогнул при имени Бушро - это имя звало его в Кастле, к постели больной матери.

- Ну да!.. - ответил за Госсена чертежник и взял у него из рук корзину. - Старшая, та, что правит осликом, - это племянница доктора… Он взял к себе на воспитание дочь брата. Лето они проводят в Велизи… Она мила.

- Ну уж и мила!.. Сразу видно: нахалка…

Фанни резала хлеб, а сама, встревоженная рассеянным взглядом Госсена, не спускала с него глаз.

Госпожа Эттема, с торжествующим видом извлекая ветчину, решительно порицала взрослых за то, что они отпускают девочек в лес одних, без присмотра.

- Вы мне скажете, что так принято в Англии, что девочка воспитывалась в Лондоне… Все равно, это неприлично.

- Неприлично, да зато удобно для всяких похождений.

- Фанни!..

- Извините, я и забыла: вы же верите, что еще существуют невинные девушки…

- А не пора ли завтракать?.. - вмешался предчувствовавший бурю Эттема.

Но Фанни не терпелось выложить все, что ей было известно о девушках из хорошего общества. Она знала много любопытнейших случаев… Монастыри, пансионы - там такие дела творятся… Девушки выходят оттуда истощенные, чахлые, испытывающие отвращение к мужчине, неспособные иметь детей.

- А потом их выдают вот за таких простофиль, как вы!.. Невинная девушка!.. Да где вы видели невинных девушек? Из высшего круга, из низшего - все девушки от рождения знают, где собака зарыта… Взять хоть меня: я в двенадцать лет была уже достаточно просвещена… И вы тоже, наверно, Олимпия?

- Ну, а как же?.. - ответила г-жа Эттема и по виду спокойно пожала плечами. Но ее уже не на шутку тревожило, чем кончится завтрак, а тут еще Госсен в повышенном тоне начал доказывать, что девушки бывают разные, что и сейчас можно встретить в иных семьях…

- Ах, вот оно что! - презрительно выговорила Фанни. - Скажите на милость: в семьях!.. Уж не в твоей ли?

- Замолчи! Я тебе запрещаю!..

- Мещанин!

- Распутная девка!.. Одно утешение, что все это скоро кончится… Долго бы я с тобой все равно не прожил…

- Ну и уходи, ну и уходи, проваливай, я только довольна буду!..

Они бросали оскорбления друг другу в лицо, возбуждая нездоровое любопытство мальчика, валявшегося на траве, как вдруг оглушительно затрубил рог, и этот звук, стократ усиленный прудом и многоярусной громадой леса, мгновенно покрыл их возмущенные голоса.

- Ну что, довольно с вас? Или, может, еще?

Не найдя иного средства заставить их замолчать, как затрубить в

охотничий рог, толстяк Эттема, красный, с напружившейся шеей, не отнимая губ от мундштука, угрожающе выставив раструб, ждал…

IX

Обычно нелады между Жаном и Фанни длились недолго - их расплавляла музыка или приливы нежности, которыми сменялся гнев у Фанни. Но на этот раз Жан рассердился серьезно и потом еще несколько дней хранил все ту же хмурую складку на лбу и все то же злопамятное молчание, тотчас после обеда и ужина принимался за чертежи, отказывался пойти погулять.

Жана не покидало вдруг охватившее его чувство стыда, что он так низко пал, он боялся еще раз встретить тележку, поднимающуюся по лесной дороге, и чистую улыбку ранней юности - улыбку, которую он так и видел перед собой. Но забывается мало-помалу сон, забывается декорация после очередной перемены - так и это видение расплылось, скрылось в чаще леса, и Жану оно уже больше не грезилось. У него остался лишь горький осадок, а Фанни, которой казалось, что она догадывает о причине, решила оправдаться в его глазах.

- Дело сделано! - радостно объявила она ему однажды. - Я видела Дешелета… Вернула ему деньги… Он, как и ты, считает, что это удобней. Между прочим, я так и не поняла, почему… Ну, теперь уж нечего об этом говорить… Потом, когда я останусь одна, он позаботится о мальчике… Ты доволен?.. Ты на меня больше не сердишься?

Фанни рассказала ему, как она побывала у Дешелета на Римской и как она изумилась, увидев на месте прежнего шумного и дикого караван-сарая, по которому носились исступленные толпы, тихий мещанский особняк, куда никого не велено пускать. Кончилось веселье, кончились балы-маскарады. Причину этой перемены разгласил какой-то выставленный за дверь и обозленный прихлебатель, нацарапавший мелом надпись при скромном входе в мастерскую: “Закрыто по случаю того, что хозяин спутался”.

- И это истинная правда, мой дорогой… Дешелет по приезде врезался в одну девчонку со скетинга, Алису Доре. Живет он с ней уже целый месяц, по-семейному, совсем по-семейному… Милая, славная, кроткая - хорошенькая овечка… Они друг другу жизни не портят… Я обещала, что мы с тобой их навестим, кстати, отдохнем от охотничьего рога и от баркарол… Вот тебе и философ - куда полетели все его теории!.. “Никаких завтра, никаких спутываний!..” Уж я над ним поиздевалась!

Жан согласился пойти к Дешелету; после встречи на бульваре Мадлен он с ним не виделся. Тогда он возмутился бы, если б ему предсказали, что он без отвращения станет бывать у циничного и надменного любовника его возлюбленной, перейдет с ним почти на дружескую ногу. Придя к нему, он сам был удивлен, что чувствует себя как дома, что он сразу подпал под обаяние этого человека, по-детски добродушно похохатывавшего в свою казацкую бороду, человека, которого не выводили из равновесия острые боли в печени и разлитие желчи, отчего так желтели у него глаза и все лицо.

Вполне можно было понять, что его боготворила Алиса Доре - женщина с длинными, мягкими, белыми руками, красивая неяркой красотой блондинки, оттенявшейся фламандским избытком ее плоти, такой же золотистой, как ее фамилия [9 - Dore - золотистый (фр.)]; золотом отливали и ее волосы, золотистые искорки мелькали в ее зрачках, золотистые были у нее ресницы, и всюду, даже под ногтями, были рассыпаны блестки веснушек.

Дешелет подобрал ее на асфальте скетинга, и она, привыкшая к грубости и хамству, привыкшая к тому, что мужчины вместе с ценой выхаркивают клубы дыма в накрашенные лица девиц, была поражена и растрогана его учтивостью. Бедная скотинка, предназначенная только для того, чтобы развлекать, она вдруг почувствовала себя человеком, и когда на другое утро не изменявший своим привычкам Дешелет угостил ее вкусным завтраком и, сунув ей в руку несколько луидоров, совсем уж было собрался выпроводить ее, у нее был такой расстроенный вид и она с такой робкой и страстной надеждой в голосе проговорила: “Позволь мне побыть с тобой еще хоть немного!..” - что у него не хватило духу отказать ей. И вот, отчасти из целомудрия, отчасти потому, что он устал от людей, Дешелет запер двери на ключ в ограждение этого случайного медового месяца и проводил его в прохладной тишине своего летнего, обставленного с

полным комфортом дворца. И жили они душа в душу: ее радовала его предупредительность, столь для нее непривычная, а его радовало сознание, что он пригрел это обездоленное существо, что он заслужил ее простодушно выражаемую благодарность, и впервые в жизни он незаметно для себя проникался волнующей прелестью постоянного присутствия в доме женщины, таинственным очарованием совместной жизни на началах заботливости и доброты.

Для Госсена посещения мастерской на Римской улице были отвлечением от окружавшей его среды с ее низменными интересами, с ограниченностью ее запросов - среды мелкого чиновника, состоящего в незаконной связи. Госсен любил послушать этого образованного человека с утонченным вкусом художника, этого философа в персидском халате, таком же легком и свободном, как его учение, его устные путевые очерки, которые он набрасывал с помощью возможно меньшего количества слов, очерки, как нельзя более подходящей декорацией для которых служили восточные ковры, позолоченные изображения Будды, бронзовые химеры, вся экзотическая роскошь огромного холла, где свет, вливавшийся в высокие окна, колыхали, точно в глубине парка, хрупкие листья бамбука, ветви пальм, выделявшиеся на фоне древовидного папоротника, огромные листья стиллингии, перемежавшиеся с листьями филодендрона, гибкого, как водяные растения, любящего сумрак и сырость.

По воскресеньям в этом обширном оазисе среди обезлюдевшей летом парижской улицы, оазисе с его трепетом листьев, с запахом свежей земли у подножия растений, Госсен чувствовал себя совсем как в Шавиле - тот же деревенский воздух, да и пуща почти такая же, менее, впрочем, глухая и не оглашаемая рогом Эттема. Кроме Госсена и Фанни, у Дешелета никто не бывал. Но однажды, приехав к нему обедать, они услыхали громкие голоса. При свете уходящего дня гости пили в теплице арак и вели оживленную беседу:

- А по-моему, просидеть пять лет в Маза, утратить доброе имя, разбить себе жизнь - это слишком дорогая плата за порыв безумной страсти… Я подпишусь под вашим прошением, Дешелет.

- Это Каудаль!.. - вздрогнув, прошептала Фанни.

Кто-то с неумолимой сухостью отказывающегося наотрез человека

заявил:

- А я не подпишу - этот жулик ни малейшего сочувствия во мне не вызывает…

- А это Ла Гурнери…

Прижавшись к Госсену, Фанни пролепетала:

- Давай лучше уйдем, - тебе, наверно, будет с ними скучно…

- Почему? Нисколько…

В сущности, Госсен не отдавал себе ясного отчета, что он почувствует, очутившись среди этих людей, но ему хотелось выдержать испытание, его тянуло, быть может, проверить, насколько сильна теперь в нем ревность, вызванная его несчастной любовью.

- Пойдем! - сказал он, и они оказались в царстве розового предзакатного света, озарявшего голые черепа и седеющие бороды приятелей Дешелета, развалившихся на низких диванчиках вокруг восточного столика в виде табурета, на котором колыхался в бокалах приправленный анисом желтоватый напиток, который только что разлила Алиса. Женщины расцеловались.

- Вы со всеми знакомы, Госсен? - сидя в качалке и сам себя баюкая, спросил Дешелет.

Как же не знаком!.. Выставленные среди прочих знаменитостей на витрине портреты двух гостей Дешелета он рассматривал часами. Сколько он из-за них выстрадал, какая в его душе накипала на них злоба, злоба преемника на предшественников, настоящее бешенство: если бы он их встретил тогда на улице, то, наверное, кинулся бы на них и растерзал!.. Но Фанни была права, когда уверяла его, что это пройдет. Теперь это были для него просто знакомые лица, почти родственники, дальняя родня, с которой он после долгого промежутка встретился вновь.

- Все так же красив, негодник!.. - растянувшись на диване во весь свой гигантский рост и защитив глаза от света, воскликнул Каудаль. - А, и Фанни с вами!.. Сейчас посмотрим.

Приподнявшись на локте, он прищурил свои острые глаза.

- Лицо еще не сдается, а вот талия… Ты хорошо делаешь, что затягиваешься… Ничего не попишешь, утешайся тем, моя деточка, что Ла Гурнери еще толще тебя.

Поэт презрительно поджал свои тонкие губы. Сидя по-турецки на горе подушек, - после своей поездки в Алжир он уверял, будто иначе сидеть не может, - огромный, заплывший жиром, сохранивший что-то от прежней живости ума лишь во взгляде - жестком взгляде работорговца - да в складках выпуклого лба, накрытого белой шапкой волос, он в пику скульптору проявлял по отношению к Фанни светскую сдержанность, преувеличенную любезность.

Тут же сидели два художника-пейзажиста с крестьянскими загорелыми лицами. Они тоже были знакомы с возлюбленной Жана, и один из них, тот, что помоложе, пожав ей руку, проговорил:

- Дешелет рассказал нам историю вашего приемыша. Хорошее дело вы сделали, моя дорогая.

- Да, да, - обращаясь к Госсену, подхватил Каудаль. - Усыновить ребенка - это широкий жест… Отнюдь не провинциальный.

Фанни, казалось, смутили похвалы, но в это время кто-то наткнулся в темной мастерской на стул, и чей-то голос спросил:

- Тут есть кто-нибудь?

- А вот и Эдзано, - объявил Дешелет.

Эдзано Жан никогда не видел, но знал, какое место этот фантазер, богема, со временем остепенившийся, женатый, ведавший отделом в Академии художеств, занимал в жизни Фанни Легран, он вспомнил его пламенные, прелестные письма. Вошел маленький человек, испитой, высохший, с негнущейся спиной; он протягивал руку издали, держался на почтительном расстоянии, как держатся люди, которые всегда на виду, которые привыкли распоряжаться. Увидев Фанни, он очень удивился; особенно его поразило, что она ничуть не подурнела за столько лет.

- Ба!.. И Сафо здесь!..

При этих словах его щеки слабо окрасил румянец.

Прозвище “Сафо”, отбрасывавшее Фанни к ее прошлому, вновь сближавшее ее с бывшими поклонниками, вызвало некоторое замешательство.

- А привел ее к нам господин д’Арменди… - чтобы предупредить Эдзано, поспешил вставить Дешелет.

Эдзано поклонился. Начался общий разговор. Жан держал себя так, что Фанни быстро успокоилась; ей было лестно, что художники-знатоки видят, какой у нее молодой, красивый любовник, и она веселилась напропалую, она была в ударе. Вся во власти теперешней своей привязанности, она почти не вспоминала о связях с этими людьми. Тем не менее годы сожительства с ними, годы совместной жизни наложили на нее отпечаток: ей передались чужие привычки и прихоти, и они пережили ее чувство к тому или иному мужчине, - например, она набивала папиросы совершенно так же, как это делал Эдзано, и, как и он, имела пристрастие к двум сортам табаку: “Жоб” и мэрилендскому.

Прежде эта мелочь вывела бы Жана из себя, а теперь он отметил ее вполне равнодушно, и в этом его спокойствии было нечто общее с радостью узника, подпилившего цепь и сознающего, что еще одно небольшое усилие - и он на свободе.

- Милая Фанни! Посмотри вокруг!.. - показывая на других гостей, шутливым тоном говорил Каудаль. - Каков закат!.. Как они все постарели, сморщились!.. Только мы с тобой, как видишь, молодцом.

Фанни засмеялась.

- Нет уж, извините, полковник, - его так называли иногда за длинные усы, - вы себя со мной не равняйте - мы с вами не одного года призыва…

- Каудаль всегда забывает, что он нам в прадеды годится, - вмешался Ла Гурнери.

Скульптор хотел было что-то сказать, но Ла Гурнери, зная его больное

место, вскричал своим пронзительным голосом:

- Медаль сорокового года! От этого, брат, никуда не уйдешь!..

Два старых приятеля вечно друг друга поддразнивали, друг друга в глубине души недолюбливали, но эта взаимная неприязнь не доводила их до ссоры - она вспыхивала в их взглядах, в брошенных вскользь замечаниях и длилась уже двадцать лет, с того дня, когда поэт увел у скульптора его любовницу. Фанни уже не стояла между ними, после нее у обоих было много других радостей и горестей, но нелюбовь оставалась, и время углубляло ее.

- Посмотрите на него и на меня и скажите по чистой совести, кто из нас прадедушка!..

Мускулы Каудаля обрисовывал узкий пиджак, а тут он еще выпрямился, выпятил грудь и тряхнул своей огненной гривой, в которой не было заметно ни одного седого волоса.

- Медаль сорокового года… Через три месяца мне стукнет пятьдесят восемь лет… ну и что же это доказывает?.. Разве дело в возрасте?.. Только во Французской комедии и в консерватории мужчины в шестьдесят лет бормочут, трясут головой, горбятся, шаркают развинченными ногами, и от старости с ними случается грех. В шестьдесят лет, черт возьми, мужчины держатся прямей, чем в тридцать, потому что в этом возрасте мужчины за собой следят, а женщины в них врезываются, оттого что сердце у них молодое, и оно греет, и оно живит весь состав…

- Ты уверен? - спросил Ла Гурнери; он все время смотрел на Фанни и ухмылялся.

Дешелет улыбнулся своей доброй улыбкой:

- Да ведь ты сам же твердишь, что все дело в молодости, ты нам все уши прожужжал…

- Моя милая Кузинар заставила меня изменить мнение… Кузинар - это моя новая натурщица… Восемнадцать лет, кругленькая, с ямочками, во вкусе Клодьона… Бесхитростная, совсем простенькая, парижанка с Центрального рынка - там ее мамаша торгует битой птицей… У нее есть до

того смешные выражения, что хочется ее за них расцеловать, ах, до чего смешные!.. Как-то раз увидела в мастерской роман Дежуа, читает заглавие: “Тереза” - и с премилой гримаской кладет на место: “Вот кабы она называлась “Бедная Тереза”, я б тогда читала всю ночь напролет!..” Нет, право, я от нее без ума.

- Опять связался!.. А через полгода снова разрыв, слезы величиной с кулак, отвращение к работе, свет не мил…

Каудаль нахмурился:

- Это верно, ничто не вечно… Люди сходятся и расходятся…

- Зачем же тогда сходиться?

- А ты-то сам? Уж не воображаешь ли ты, что твоя фламандка будет с тобой всегда?

- Да ведь мы же ничем не связаны!.. Правда, Алиса?

- Конечно, - спокойно и рассеянно ответил голос молодой женщины, взобравшейся на стул, чтобы нарезать глициний и зелени для букета к столу.

Дешелет продолжал:

- У нас не может быть разрыва - мы просто разъедемся… Мы уговорились провести два месяца вместе. В последний день мы расстанемся, и это ни для кого из нас не явится неожиданностью и никого не повергнет в отчаяние… Я опять уеду в Исфахан - я уже заказал себе билет в спальном вагоне, - Алиса вернется в свою квартирку на улице Лабрюйера, она ее оставила за собой.

- На четвертом этаже, так что если выбросишься в окно, то разобьешься наверняка!

Яркая, лучезарная в свету догоравшего заката, с охапкой лиловых цветов, она произнесла эти слова, улыбаясь, но таким серьезным, многозначительным тоном, что никто не нашелся, что ей ответить… На улице захолодало. Дома напротив словно выросли.

- Сядемте за стол!.. - крикнул “полковник”. - И давайте резвиться!..

- Вот, вот: gaudeamus igitur! Будем веселиться, пока молодые, - верно, Каудаль?.. - сказал Ла Гурнери и засмеялся, но смех его прозвучал невесело.

Несколько дней спустя Жан, проходя по Римской, увидел, что мастерская заперта, окна ее закрывал громадный тиковый навес, и всюду царила мертвая тишина - от подвального этажа до плоской крыши. Срок договора истек, и в определенный час Дешелет уехал. “Хорошо все делать по-своему, хорошо быть властелином своего рассудка и своего сердца!.. Хватит ли у меня на это смелости?..” - подумал Жан.

Чья-то рука легла на его плечо:

- Здравствуйте, Госсен!..

Это его окликнул Дешелет, усталый, с уже не загорелым, а пожелтевшим и еще более сморщенным, чем обычно, лицом, и тут же принялся объяснять, почему он до сих пор не уехал: его задержали в Париже дела, живет он в Гранд-отеле, а в мастерской ему оставаться страшно после этой ужасной истории…

- Какой истории?

- Ах да, ведь вы ничего не знаете!.. Алиса умерла… Она покончила с собой… Подождите меня, - я только посмотрю, нет ли писем…

Дешелет почти сейчас же вернулся; нервно переворачивая одним пальцем газетные листы, он пошел вперед, как сомнамбула, не глядя на Госсена, и глухо заговорил:

- Да, покончила с собой, выбросилась из окна, - она это предсказала в тот вечер, когда вы у нас были… Но кто же это мог знать?.. Я ни о чем не догадывался, ничего не подозревал… В тот день, когда я должен был уехать, она мне сказала совершенно спокойно: “Дешелет! Возьми меня с собой!.. Не оставляй меня одну!.. Я уже не могу жить без тебя…” Я засмеялся. Представляете себе: я с женщиной, там, среди курдов?.. Пустыня, лихорадка, ночевки под открытым небом… За обедом она опять завела разговор: “Я тебя не стесню, ты увидишь, как тебе будет со мной

легко…” Но когда она заметила, что меня это раздражает, то уже не настаивала… Потом мы с ней поехали в Варьете, в ложу, - так у нас с ней было сговорено заранее… Она, видимо, была довольна, все держала меня за руку и шептала: “Как мне хорошо!..” Мой поезд уходил ночью, и я в карете довез ее до дому. Всю дорогу мы оба молчали, нам было грустно. Она даже не поблагодарила за пачку кредиток, которую я ей сунул в карман, - на эти деньги она могла жить безбедно год, а то и два. Когда мы приехали на улицу Лабрюйера, она попросила меня подняться… Я стал отказываться. “Ну, я прошу тебя!.. Только до двери!..” Но уж у двери я уперся и не вошел. Билет у меня был заказан, вещи уложены, да и потом очень уж я раззвонил о своем отъезде… Но когда я спускался, сердце у меня щемило, и вдруг она мне что-то крикнула вслед, что-то вроде: “…А я - быстрей, чем ты!..” Но смысл этих слов до меня дошел уже внизу, на улице… О!..

Он остановился и опустил глаза - тротуар ежесекундно являл его взору страшное видение: почерневшую бесформенную хрипящую груду…

- Скончалась она через два часа, не сказав ни единого слова, не издав ни единого стона, глядя на меня в упор своими золотистыми зрачками… Мучилась ли она? Узнала ли меня?.. Мы положили ее, одетую, на кровать и, чтобы не было видно раны, обмотали вокруг головы длинную кружевную мантилью. Она была очень бледна, на виске у нее алела кровь, и все же она была еще так хороша, и такое спокойное было у нее лицо!.. Но когда я наклонялся, чтобы вытереть капельку крови, которая беспрерывно выступала у нее на виске, всякий раз мне мерещилось, что черты ее принимают негодующее, ужасное выражение… Бедная девочка беззвучно проклинала меня… И в самом деле: ну что мне стоило побыть еще некоторое время в Париже или взять ее с собой? Ведь она была до того неприхотлива, до того ненавязчива!.. Да нет, видите ли, самолюбие, упрямство: раз я сказал… Словом, я ей не уступил, и она погибла, погибла из-за меня, хотя я любил ее…

Они шли по Амстердамской, Дешелет горячился, говорил громко, толкал встречных, и те с изумлением смотрели ему вслед. Госсен, проходя мимо своей прежней квартиры с крытым балконом, вспомнил Фанни, вспомнил историю своих отношений с ней и невольно содрогнулся, а Дешелет между тем продолжал:

- Я не позвал ни друзей, ни родных и проводил ее до Монпарнаса один… Мне хотелось все для нее делать самому… И я так и не уехал, думаю только о ней, навязчивая идея держит меня в Париже, я не могу видеть мой дом, где я провел с ней два безоблачно счастливых месяца… Живу в гостинице, брожу по улицам и тщетно пытаюсь рассеяться, не видеть открытый глаз покойницы - он смотрит на меня укоризненно, а под ним - струйка крови…

Две крупных слезы скатились на его курносый нос, такой добродушный, такой жизнелюбивый, и, не в силах совладать с угрызениями совести, Дешелет остановился.

- Послушайте, друг мой, - сказал он, - ведь я же не злой человек… А поступил все-таки жестоко…

Жан начал было утешать его тем, что это дело случая, злой рок, но Дешелет качал головой и все повторял сквозь зубы:

- Нет, нет… Я никогда себе этого не прощу… Я должен себя наказать…

Стремление искупить вину не покидало его ни на мгновение, он говорил о нем с друзьями и заговорил сейчас с Госсеном, в которого он вцепился, когда тот шел со службы.

”Уезжайте, Дешелет!.. Путешествуйте, работайте - это вас отвлечет…” - твердили ему Каудаль и другие приятели, обеспокоенные его сосредоточенностью на одном, тем упорством, с каким Дешелет повторял, что он не злой человек. Наконец как-то вечером, сказав одним, что ему хочется проститься с мастерской, а другим - что ему надо закончить проект, который он задержал из-за своего горя, Дешелет вернулся в свой дом, а утром шедшие с окраин на фабрики рабочие подобрали его, с расколотым черепом, на тротуаре, у самых дверей, - он покончил счеты с жизнью так же, как и Алиса: в такой же смертельной тоске, с таким же сознанием непоправимо разбитой жизни выбросился из окна на улицу.

В полусвете мастерской теснилась толпа художников, натурщиц, актрис, все, кто танцевал, все, кто ужинал на его последних балах. В комнате стоял шаркающий, шепотный звук - церковный шумок, озаренный короткими огоньками свечей. Сквозь лианы, сквозь листву было видно тело, накрытое шелковой, расшитой золотыми цветами пеленой, была видна голова,

вокруг которой, чтобы скрыть страшную рану, навертели что-то вроде тюрбана, видны были вытянутые белые руки, говорившие о полной отрешенности, о последнем освобождении, и лежало это тело во всю его длину на том самом низком диване под сенью глициний, где Госсен и его возлюбленная познакомились в бальную ночь.

X

Значит, для иных разрыв бывает смертелен!.. Теперь, когда у них возникали ссоры, Жан уже не заикался об отъезде и не кричал в исступлении: “К счастью, все это скоро кончится!” Он мог ожидать от нее такого ответа: “Ну что ж, уходи… А я наложу на себя руки, как та женщина…” И эта угроза, чудившаяся ему в ее печальных взглядах, в грустных песнях, которые она напевала, в задумчивости ее молчания, волновала его до ужаса.

Между тем он уже выдержал экзамен, которым заканчивался для будущих сотрудников консульств стаж в министерстве. Он был на отличном счету, его прочили на одну из первых вакантных должностей, и это уже был вопрос не недель, а дней!.. А вокруг них во всем чувствовался конец лета - пора кратких улыбок солнца, все неудержимо влеклось к зимним переменам. Первым туманным утром Фанни, отворив окно, воскликнула:

- Ай-ай-ай! Ласточки улетели…

То на той, то на другой даче заколачивали ставни. По Версальской дороге вереницы огромных деревенских омнибусов везли вещи переезжавших в город, на площадках развевались султаны зеленых растений, в воздухе под низким небом кружились сухие листья, ветер гнал их, как облака, в опустевших полях торчали скирды хлеба. За раздетым, как будто уменьшившимся в размерах садом открывался унылый вид на заколоченные дачи и прачечные с красными крышами, а по другую сторону оголившаяся железная дорога вытягивала между двух серых стен леса две черные линии, уходившие вдаль.

Надо быть бесчеловечным, чтобы оставить ее одну среди всей этой грусти. Сердце у него сжималось при одной мысли об отъезде. Нет, у него не хватит сил расстаться. На это она и рассчитывала; она надеялась, что в последнюю минуту он передумает, - вот почему она казалась спокойнее, не заговаривала о разлуке, оставалась верна своему слову - не ставить перед ним никаких преград, тем более что его отъезд был делом давным-давно решенным. Однажды он, придя домой, сообщил новость:

- Я получил назначение…

- Ах, вот как!.. Куда же?..

Она задала этот вопрос с безучастным видом, но глаза и губы у нее помертвели мгновенно, и все лицо приняло такое мученическое выражение, что он не мог дольше тянуть:

- Да нет!.. Это еще не скоро. Я уступил очередь Эдуэну… В нашем распоряжении еще по крайней мере полгода.

Что тут только было! И слезы градом, и неудержимый смех, и страстные поцелуи, а в промежутках между поцелуями губы ее шептали:

- Спасибо, спасибо!.. Как я о тебе буду теперь заботиться!.. Ведь это я из-за твоего отъезда была такая злая…

Теперь у нее будет время к этому подготовиться, она постепенно свыкнется с мыслью об этом. А там через полгода уже не будет осени и померкнет зловещий отсвет двух смертей.

И она сдержала слово. Прекратились истерики, прекратились ссоры. Более того: чтобы избежать неприятностей, связанных с воспитанием ребенка, она решила отдать его в версальский пансион. Его отпускали домой только на воскресенье, и если новый образ жизни пока еще не подавил в нем дикаря и бунтовщика, то, по крайней мере, он научил его лицемерию. Жан и Фанни жили ладно, обеды, на которых присутствовали Эттема, проходили чинно, на пюпитре фортепьяно лежали раскрытые ноты их любимых песен. Однако в глубине души Жан был растерян и взволнован больше, чем когда-либо; он спрашивал себя, до чего в конце концов доведет его мягкотелость, и временами подумывал, не отказаться ли от консульства, не остаться ли в министерстве.

Итак, жизнь в Париже и уже бессрочный договор с Фанни, но зато конец всем мечтам его юности, горе родных и неизбежная ссора с отцом, который не простит ему этого легкомысленного поступка, особенно когда узнает о причине.

И ради кого?.. Ради стареющей, отцветающей женщины, которую он разлюбил, - это он ясно почувствовал в окружении ее любовников… Так каким же колдовством она его удерживает?..

В конце октября он сел однажды утром в вагон и, встретившись глазами с девушкой, сейчас же вспомнил встречу в лесу и всю лучезарную прелесть этой женщины-ребенка, образ которой в течение нескольких месяцев стоял у него перед глазами. На ней было то же светлое платье, на котором тогда так красиво играл солнечный свет, пробивавшийся сквозь ветви деревьев, но сегодня она надела еще сверху широкий дорожный плащ. Вагон, книги, сумочка, длинные камышинки и последние цветы - все говорило о возвращении в Париж и о конце дачной жизни. Что она его тоже узнала, это отразила полуулыбка, дрожавшая, точно рябь на воде, на чистой влаге ее глаз. И на одну секунду эти два существа связало невыразимое.

- Как здоровье вашей матушки? - спросил старик Бушро, которого ослепленный Жан сперва не заметил, - Бушро, примостившись в углу, уткнул свое бледное лицо в книгу.

Жан, растроганный тем, что Бушро не забыл его родных и его самого, поспешил ответить на вопрос, но еще больше его умилила девушка, спросившая, как поживают близнятки, - оказывается, они написали ее дяде милое письмо, в котором благодарили его за заботу об их матери… Так она их знает?.. Жан обрадовался. Однако в это утро он был что-то уж очень впечатлителен: узнав, что они возвращаются в Париж, что Бушро должен читать полугодичный курс лекций на медицинском факультете, он сразу загрустил. Вряд ли они еще когда-нибудь увидятся… И поля, проносившиеся в окнах, восхитительные в этот ранний час, показались ему мрачными, точно наступило солнечное затмение.

Паровоз долго гудел. Приехали. Жан раскланялся и тотчас потерял спутников из виду, но при выходе из вокзала они снова встретились, и Бушро - в шуме и толкотне - успел сказать Жану, что с четверга он у себя, на Вандомской площади: “Милости просим на чашку чаю…” Она подала

руку дяде, и показалось Жану, что это она приглашает его, но только без слов.

Несколько раз Госсен решал, что пойдет к Бушро, затем перерешал - зачем давать себе пищу для бесплодных сожалений? - но в конце концов предупредил Фанни, что в министерстве предполагается грандиозный вечер, на котором ему необходимо присутствовать. Фанни осмотрела его платье, выгладила ему белый галстук. И вдруг в четверг вечером у него пропала всякая охота. Фанни стала его убеждать, что надо отбыть эту повинность, стала упрекать себя в том, что он из-за нее уж очень засиделся, что с ее стороны это эгоизм, и, наконец переубедив, с милыми шутками принялась одевать его, завязала ему галстук, поправила пробор и все смеялась, что пальцы у нее пропахли табачным дымом, - она поминутно клала на камин и сейчас же снова брала папиросу, - что теперь от него тоже будет пахнуть и что дамам, с которыми он будет танцевать, это удовольствия не доставит. Она была так весело настроена, так нежна с ним, и ему стало стыдно, что он солгал, он уже рад был бы не ехать, посидеть с ней у камелька, но Фанни настояла.

- Я тебе приказываю!.. Это необходимо, - сказала она и ласково выпроводила его в черноту дороги.

Вернулся он поздно. Фанни спала, и лампа озаряла ее крепкий сон точно так же, как три года назад, когда он вернулся домой, столько скверного узнав про свою возлюбленную. Какой он был тряпкой тогда! Вследствие какого душевного вывиха то, что должно было разорвать его цепь, только укрепило ее?.. Тошнота брезгливости подступила ему к горлу. Комната, кровать, женщина внушали ему одинаковое отвращение. Он взял лампу и, неслышно ступая, перенес ее в соседнюю комнату. Ему так хотелось побыть одному, обдумать случившееся!.. А, да ничего не случилось! Почти ничего…

Он полюбил.

В иных словах, которые мы часто употребляем, есть тайная пружинка; нечаянно нажмешь ее - и слово раскрывается перед нами до дна, во всей своей сокровенной неповторимости. Потом оно закрывается, вновь приобретает банальную форму, становится стертым и от привычки и от машинальности употребления обессмысливается. Одно из таких слов -

любовь. Те, перед кем свет этого слова хоть раз в жизни воссиял в полном блеске, поймут радостную тревогу, которую Жан - сперва безотчетно - испытывал уже целый час.

Там, на Вандомской площади, в углу гостиной, где они долго беседовали вдвоем, он ощущал лишь безграничное блаженство, им овладело сладостное очарование.

Когда дверь за ним затворилась и он очутился на улице, он на мгновение почувствовал прилив безумного счастья, а затем прилив сменился столь же внезапным упадком сил, таким, что ему казалось, будто из всех его жил кровь вытекла без остатка: “Боже! Что со мной?..” Париж, по которому он шел обратной дорогой, представал перед ним обновленным, волшебным, светозарным, безбрежным.

Да, в этот час, когда бродячие собаки бегают по улицам безвозбранно, когда при желтом свете газовых фонарей грязная жижа в сточных канавах поднимается, растекается, бурлит, ему, любовнику Сафо, осведомленному обо всех видах разврата, представился иной Париж, такой, каким он открывается сверкающей белизною убора девушке, в ушах у которой все еще звучит вальс, оттого что она возвращается с бала, и которой хочется, чтобы эти звуки услышали звезды, - Париж безгреховный, залитый лунным сиянием, Париж, где расцветают девственно стыдливые души… И когда Госсен поднимался по широкой вокзальной лестнице, когда ему предстояло вернуться в нечистое свое жилье, он неожиданно услыхал свой собственный громкий голос:

- Да я же люблю ее!.. Я ее люблю!..

Так он об этом узнал.

- Это ты, Жан?.. Что ты там делаешь?

Фанни, обеспокоенная тем, что не чувствует его рядом с собой, мгновенно просыпается. Значит, надо подойти к ней, поцеловать, наврать ей, рассказать про бал в министерстве, описать красивые туалеты и сообщить, с кем он танцевал. И вот, чтобы избежать этой пытки, главным образом ласк, которых он, весь полный воспоминаний о той, другой, особенно боится, он придумывает, что у него срочная работа - чертежи для Эттема.

- Камин уже не топится. Ты замерзнешь.

- Да нет же, нет…

- Тогда не затворяй двери, чтобы я видела, что у тебя горит свет…

Он вынужден лгать до конца, вынужден разложить на столе чертежи. Затем он усаживается и сидит неподвижно, затаив дыхание, думает, вспоминает и наконец, чтобы закрепить в памяти все до мельчайших подробностей, принимается писать длинное письмо Сезеру, а за окном ночной ветер раскачивает деревья, и слышно, как они скрипят, но уже без привычного шороха листьев, слышно, как гудят прибывающие один за другим поезда, а в клетке с недоуменными вскриками перепархивает с жердочки на жердочку встревоженный светом дрозд.

Жан описывает все: встречу в лесу, встречу в вагоне, то особенное волнение, какое охватило его при входе в залы, - в день консультации они показались ему такими трагическими, такими мрачными-мрачными из-за таинственного шепота в дверях, из-за тех грустных взглядов, какими обменивались пациенты, а в этот вечер, оживленные, шумные, они открылись перед ним длинной блистающей анфиладой. Сам Бушро уже не смотрел своими черными глазами из-под нависших кустистых бровей так строго, так пытливо, так обескураживающе - теперь на его лице появилось спокойное, отечески-добродушное выражение, свойственное человеку, который радуется тому, что у него в доме веселятся.

”Внезапно появилась она, и я уже ничего, кроме нее, не видел… Друг мой! Ее зовут Ирена, она красива, приветлива, волосы у нее золотистые, как у англичанок, ротик детский, всегда готовый улыбнуться… Но только не той невеселой улыбкой, которая так раздражает у других женщин, ее улыбка - это непритворная улыбка молодости и счастья… Родилась она в Лондоне, но отец у нее француз, и говорит она без малейшего акцента, она только чудесно произносит некоторые слова; например, она говорит “дьядья”, и это всякий раз зажигает искорки умиления в глазах старика Бушро. Он взял Ирену к себе, чтобы облегчить своего многосемейного брата, взамен ее старшей сестры, которая два года назад вышла замуж за заведующего той клиникой, где он служит. Ну, а ей врачи не по нутру… Как она меня насмешила рассказом про одного молодого ученого, который имел глупость поставить невесте непременное условие, чтобы они оба

торжественно и формально завещали свои скелеты Антропологическому обществу!.. Ирена - перелетная птичка. Она любит корабли, любит море. Один вид корабля, выходящего в открытое море, заставляет сильно биться ее сердце… Во всем этом она, настоящая мисс по своим повадкам, несмотря на ее парижское изящество, признавалась мне с дружеской откровенностью, и я наслаждался звучанием ее голоса, ее смехом, радовался тому, что у нас с ней много общего, радовался внутренней уверенности, что мое счастье - вот оно, здесь, совсем рядом, что мне стоит только протянуть руку - и я схвачу его и умчусь с ним далеко-далеко, куда меня влечет мой беспокойный дух…”

- Да ну, дружочек, ложись!..

Он вздрагивает, замирает, инстинктивно прячет письмо.

- Сейчас, сейчас… Спи!

Он говорит сердито, а затем, вытянув шею, прислушивается к дыханию женщины, не стало ли оно снова сонным, а уловить ему это легко, оттого что они так друг от друга близко… и так далеко!

”…Чем бы это ни кончилось, наша встреча и моя любовь - это для меня избавление. Ты видел, как я живу. Ты понимаешь, хотя я тебе ничего об этом не писал, что с тех пор моя жизнь не изменилась, что у меня не хватало сил вырваться на волю. Но вот чего ты не знаешь: я готов был пожертвовать своим благополучием, своей будущностью, решительно всем ради роковой привычки, ради трясины, в которой я увязал с каждым днем все глубже и глубже. Теперь я нашел, за что мне ухватиться, нашел недостававшую мне точку опоры. А чтобы не потворствовать моему слабоволию, я поклялся в следующий же раз прийти к Ирене не иначе как развязавшимся, свободным… Побег я назначил на завтра…”

Но прошло “завтра”, прошло “послезавтра”, а побег все еще не осуществился. Недоставало повода, предлога для того, чтобы сбежать, необходима была такая ссора, когда говорят: “Я ухожу”, - и уже не возвращаются, а Фанни словно нарочно была кротка, весела, как в первые обманчивые дни их совместной жизни.

Написать: “Все кончено”, - без каких бы то ни было объяснений?.. Но такая сумасбродка, как Фанни, на этом не успокоится, она бросится за ним

в погоню, будет за ним бежать до его гостиницы, до канцелярии. Нет, лучше сказать все напрямик, убедить ее, что его решение порвать с ней окончательно и бесповоротно, объяснить ей - спокойно, но твердо - причину.

Но, обдумывая этот шаг, Госсен со страхом вспоминал о самоубийстве Алисы Доре. Напротив них, через дорогу, гористый проулок подводил прямо к железнодорожному полотну, а в конце проулка стоял шлагбаум. Соседи иногда для скорости шли этим проулком, а затем по шпалам - это был кратчайший путь к станции. И вот воображению южанина рисовалось, как после разрыва его возлюбленная выбегает за шлагбаум на полотно, бросается под поезд, и поезд волочит ее тело. Этот кошмар преследовал Госсена, и он откладывал объяснение, едва лишь перед его мысленным взором между двумя увитыми плющом стенами вырастал шлагбаум.

Если б еще у него был друг, такой, который мог бы последить за Фанни, побыть с ней первое, самое тяжелое для нее время! Но они, как сурки, зарылись в норку своего сожительства, ни с кем не знались, и, уж конечно, не к Эттема, чудовищным эгоистам, лоснившимся, лопавшимся от жира, совсем оскотинившимся в преддверии своей эскимосской зимовки, несчастная женщина могла в отчаянии и в одиночестве обратиться за помощью.

И все же надо было с ней рвать, и как можно скорее. Несмотря на обещание, данное самому себе, Жан несколько раз был на Вандомской площади и все сильнее и сильнее влюблялся. И хотя ничего еще не было сказано, радушный прием, который ему оказывал старик Бушро, то, как относилась к нему Ирена, ее сдержанная нежность, снисходительность и в то же время нетерпеливое ожидание, когда же он наконец объяснится, - все убеждало его, что медлить больше нельзя. А тут еще эта пытка - лгать Фанни, выдумывать предлоги - и кощунственный переход от ласк Сафо к своей застенчивой, невнятной влюбленности…

XI

Госсен по-прежнему пребывал в растерянности, как вдруг однажды

нашел у себя на столе, в министерстве, визитную карточку господина, который приходил к нему сегодня уже два раза, как о том поведал швейцар, исполненный некоторого почтения к нижеследующему перечню званий:

//- С. ГОССЕН Д’АРМЕНДИ, - //

//- президент Общества сторонников обводнения в долине Роны, - //

//- член центрального совета по изучению и охране, - //

//- делегат департамента - //

и т. д. и т. д.

Дядя Сезер в Париже!.. Балбес - делегат, член какого-то там совета по охране!.. Не успел Жан выйти из оцепенения, как появился дядюшка с коричневым, точно сосновая шишка, лицом, с бородой времен Лиги, с воспаленным взглядом, с улыбкой до ушей, но только вместо неизменной бумазейной куртки в рубчик на нем был новенький суконный сюртук, обтягивавший ему живот и придававший этому низкорослому человечку истинно президентское величие.

Зачем он приехал в Париж? Купить водоподъемную машину для обводнения своих новых виноградников, - он произносил слово “водоподъемная” с апломбом, который возвышал его в собственных глазах, - а кроме того, чтобы заказать свой бюст: коллеги непременно хотят украсить им зал заседаний.

- Ты читал? - добавил он скромно. - Они выбрали меня президентом… Моя идея обводнения всколыхнула весь юг… Подумать только: я, я, Балбес, спасаю французские вина!.. Понимаешь, в чем дело: выручают всегда одержимые.

Однако главная его цель - разрыв Жана с Фанни. Видя, что дело затягивается, он решил разрубить этот узел.

- Видишь ли, у меня есть опыт… Когда Курбебесс задумал жениться и оставил свою возлюбленную…

Но, прежде чем начать рассказывать, он расстегнул сюртук и достал маленький пузатый бумажник:

- Сначала освободи меня от этого… Да, да, тут деньги!.. Сними с меня эту обузу…

Не поняв жеста своего племянника, решив, что тот отказывается из деликатности, он напустился на него:

- Да ну, бери же!.. Бери!.. Я горжусь тем, что имею возможность хотя бы частично отплатить сыну за то, что когда-то сделал для меня отец… И Дивонна на этом настаивает. Она в курсе дела, и до чего же она рада, что ты хочешь жениться, что ты наконец смахнешь эту старую пиявку!

Жан подумал, что после той услуги, какую его возлюбленная оказала Сезеру, ему, пожалуй, не следует обзывать ее “старой пиявкой”, и не без горечи ответил:

- Возьмите бумажник, дядюшка… Вы знаете лучше, чем кто-либо, как равнодушна к деньгам Фанни.

- Да, она была хорошая девушка…

Эти слова прозвучали у Сезера как надгробная речь. А затем он, стянув у левого глаза гусиную лапу морщин, подмигнул Жану:

- А деньги ты все-таки спрячь… В Париже столько соблазнов, что я предпочитаю, чтобы они лежали у тебя, а не у меня. Ну, а потом, для разрывов деньги нужны так же, как и для дуэлей…

Тут Сезер встал и объявил, что он умирает с голоду и что такой сложный вопрос лучше обсудить с вилкой в руке, за едой. Южане говорят о женщинах не иначе как с шутливой легкостью.

- Между нами, мой мальчик…

Они сидели в ресторане на Бургундской, и дядюшка, с подвязанной под

горло салфеткой, блаженствовал, зато племянник жевал неохотно и вяло.

- …ты все воспринимаешь чересчур трагически. Я знаю: трудно нанести первый удар, объяснение нудно. Но если тебе это не под силу, не заводи никаких разговоров, поступи так, как поступил Курбебесс: Морна ничего не знала до самой его свадьбы. Вечером он простился с невестой, заехал за певичкой в кабачок и отвез ее к ней домой. Ты скажешь, что честные, порядочные люди так не поступают. Ну, а если ты не любишь скандалов, да еще если имеешь дело с такими ужасными женщинами, как Паола Морна?.. Около десяти лет статный, красивый малый дрожал от одного взгляда этой черномазой пигалицы. Хочешь отцепиться - хитри, маневрируй…

Так вот как принялся за дело Курбебесс.

Накануне свадьбы Курбебесса, пятнадцатого августа, следовательно, в праздничный день, Сезер предложил малышке половить рыбу в Иветте. Курбебесс должен был к ним присоединиться с тем, чтобы вместе пообедать, а вернуться все трое предполагали на другой день вечером, в час, когда в городе улетучится праздничный запах пыли, порохового дыма и горючей жидкости для плошек. Сказано - сделано. Сезер и Морна лежат на траве, на берегу извивающейся и сверкающей между пологими берегами речушки, благодаря которой так зелены окрестные луга и так густолиственны ивы. После рыбной ловли - купанье. Паола и Сезер не первый раз купались вместе - вообще отношения у них были простые, приятельские, товарищеские. Но сегодня маленькая Морна, ее голые руки и ноги, ее литое тело - тело берберийки, формы которого обрисовывал прилипший к нему купальный костюм… А что, если Курбебесс нарочно отправил их сюда вдвоем и тем самым предоставил Сезеру свободу действий?.. Бой-баба!.. Она оглянулась и, посмотрев на него в упор, строго проговорила:

- Имейте в виду, Сезер, что у вас ничего не выйдет.

Он отступил из боязни испортить дело, но сказал себе:

”Ладно! После обеда!”

Обедали они, оба - в отличном расположении духа, на деревянном балконе трактира, между двумя флагами, которые хозяин вывесил в честь

Пятнадцатого августа. Было тепло, приятно пахло сеном, сюда доносились барабанная дробь, треск взлетающих ракет, звуки духового оркестра, обходившего улицы.

- Противный Курбебесс! Что же он не приехал?.. - с разгоревшимися от шампанского глазами, потягиваясь, говорила Морна. - Мне хочется вечером повеселиться.

- А я на что?

Прислонившись рядом с ней к балконным перилам, еще горячим от солнца, он несмело, в виде пробы, обнял ее за талию.

- О, Паола, Паола!..

На этот раз певичка не разгневалась, а засмеялась, да так заразительно, так от души, что он не мог не последовать ее примеру. Еще одна атака была точно так же отбита ею вечером, когда они вернулись с гулянья, натанцевавшись и вволю наевшись макарон. Комнаты у них были смежные, и она, прильнув к переборке, напевала: “Ты слишком мал, ты слишком мал…” - и проводила обидную для него параллель между ним и Курбебессом. Ему стоило немалых усилий сдержаться и не пустить ей в ответ: “Вдовушка Морна!” - но это было преждевременно. Ну, а на другой день, когда им был подан вкусный завтрак, Сезер, видя, что Паола нервничает и волнуется из-за того, что ее милый все не едет и не едет, не без удовольствия посмотрел на часы и торжественно объявил:

- Двенадцать часов. Все кончено…

- Что кончено?

- Он обвенчался.

- Кто?

- Курбебесс.

Шлеп!

- Ах, мой друг, что это была за оплеуха!.. Сколько ни было у меня

любовных похождений, а такой я никогда не получал. Паола срывается с места. Но до четырех часов - ни одного поезда. А в это время изменник катит с молодой женой по Парижско-Лионско-Марсельской железной дороге в Италию. Паола в исступлении - и ну кусаться, и ну царапаться, и ну тузить меня, а я возьми да и запри дверь на ключ!.. Потом в меня полетела посуда, а в конце концов с Паолой приключился страшный нервный припадок. В пять часов ее укладывают в постель, дежурят около нее, а я, весь в царапинах, как будто только что выскочил из тернового куста, бегу за врачом в Орсе… В таких случаях, точно так же как на дуэли, необходимо иметь под рукой врача. Солоно мне тогда пришлось: бежать на голодное брюхо, по дикой жаре!.. Поздним вечером я привел наконец врача… Подходим к трактиру, слышим шум толпы, под окнами народ… Царь небесный! Она покончила с собой? Кого-нибудь убила? От Морна скорей этого можно было ожидать… Пускаюсь рысью - и что же я вижу?.. Балкон украшен венецианскими фонариками, певичка уже успокоилась и, во всем своем великолепии, завернувшись в знамя, на празднике империи во все горло распевает “Марсельезу”, а народ внизу рукоплещет ей. Так кончилась, мой мальчик, связь Курбебесса. Нельзя сказать, чтобы она оборвалась сразу. После того как ты десять лет пробыл в рабстве, некоторое время не мешает быть начеку. Но все-таки самый страшный удар я принял на себя и, если хочешь, приму еще один такой удар ради тебя.

- Ах, дядюшка, Фанни - совсем другой породы!

- А, чепуха! - сказал Сезер и, открыв пачку папирос и поднеся ее к уху, чтобы удостовериться, не отсырел ли табак, добавил: - Не ты первый ее бросаешь…

- Да, это верно…

Теперь Жан с радостью ухватился за это обстоятельство, которое так его мучило всего лишь несколько месяцев тому назад. Вообще дядюшка и его смешной рассказ несколько успокоили Жана, но его душа не мирилась с ложью, с двойным обманом, тянувшимся уже не один месяц, с двойной игрой, - дальше так продолжаться не может, да и чего еще ждать?

- Ну, так что же ты надумал?..

Жан бился в силках сомнений, а тем временем член совета по охране поглаживал бороду, изображал на своем лице улыбку, принимал величественные позы, приосанивался, затем небрежным тоном спросил:

- Он живет неподалеку?

- Кто?

- Скульптор Каудаль, - ведь ты советовал заказать бюст ему… Хорошо бы пойти к нему вдвоем и сторговаться…

Каудаль, отчаянный скряга несмотря на всю свою знаменитость, так и не расстался с мастерской на улице Асса, где он одержал первые победы. Дорогой Сезер расспрашивал Жана, сколь велики художественные достоинства работ Каудаля: он-то, мол, понимает, что Каудаль - величина, но дело в том, что членам совета хочется, чтобы это было из ряду вон.

- Не беспокойтесь, дядюшка! Уж если Каудаль согласится…

И Жан пошел перечислять звания и отличия скульптора: академик, награжден орденом Почетного легиона, уйма иностранных орденов. Балбес выпучил глаза:

- И вы с ним друзья?

- Еще какие!

- Вот что значит Париж!.. Тут легко заводить приятные знакомства.

Госсену, однако, стыдновато было признаться, что Каудаль - бывший любовник Фанни и что это она познакомила их. Сезер словно угадал его мысли:

- “Сафо”, которая у нас в Кастле, это его работа?.. Стало быть, он знает твою любовницу, - не поможет ли он тебе порвать с ней? Академия, Почетный легион - на женщину это все действует…

Жан ничего ему не ответил, - быть может, он и сам призадумался, не воспользоваться ли ему влиянием первого возлюбленного Фанни.

А дядюшка продолжал с добродушным смешком:

- Кстати, ты знаешь, бронзовый отливок уже не стоит в кабинете твоего отца… Когда Дивонна узнала, когда я имел неосторожность сказать ей, что это твоя любовница, она решила убрать его оттуда… Принимая во внимание упрямство консула, его нелюбовь к малейшим перестановкам, да еще при условии, чтобы он ничего не заподозрил, это было не так-то просто… Ну, уж если женщина… Дивонна так ловко действовала, что теперь на камине у твоего отца красуется господин Тьер, а бедная Сафо валяется в пыли в Комнате Ветров вместе со ржавыми каминными решетками и старинной мебелью. Кроме того, ей здорово досталось при переносе: пострадала прическа и отбита лира. Наверно, это Дивонна по злобе.

Они пришли на улицу Асса. Скромный, труженический вид этого города художников, этих мастерских с широкими, как ворота сараев, дверями, на которых значились номера мастерских, всеми окнами выходивших на длинные дворы, в самой глубине коих стояли казарменного типа школьные здания, откуда беспрерывно доносилось монотонное чтение, заставил президента обводнителей вновь усомниться, так ли уж талантлив человек, занимающий столь убогое помещение. Но, войдя к Каудалю, он сразу понял, с кем имеет дело.

- Ни за сто тысяч франков, ни за миллион!.. - завопил скульптор при первых же словах Жана и, не без труда подняв свое громоздкое тело с дивана, на котором он валялся среди беспорядка неприбранной мастерской, продолжал: - Ага! Бюст!.. Прекрасно!.. А теперь смотрите сюда. Видите эту груду мелких кусков гипса?.. Это я только что ударом молотка разбил фигуру, которая должна была быть выставлена в Салоне… Вот что значит для меня скульптура, и какой бы интерес ни представляла физиономия господина… господина?..

- Госсена д’Арменди… президента…

Дядюшка начал перечислять свои титулы, но уж больно много их у него было, - Каудаль прервал его и заговорил с Жаном:

- Посмотрите на меня, Госсен… Как по-вашему, очень я постарел?..

Да, он не выглядел моложе своих лет при свете, падавшем сверху на

складки, впалости и пятна его помятого, усталого лица, на его львиную гриву с пролысинами, как на старом ковре, на отвислые, дряблые щеки, на усы как будто бы из металла, с которого соскребли позолоту, - Каудаль уже не видел смысла в том, чтобы завивать их и красить… Зачем?.. Юная натурщица Кузинар от него ушла.

- Да, голубчик, ушла с моим формовщиком - грубое животное, но ему только двадцать лет!..

Он произнес эти слова со злобной иронией и отшвырнул ногой скамейку, которая стояла у него на дороге и мешала ходить из угла в угол. Остановившись перед зеркалом в медной оправе, висевшим над диваном, он состроил отвратительную гримасу.

- Какой же я урод, какая же я развалина! Свислости, подгрудок, как у старой коровы!..

Он схватил себя за шею и комически-жалобным тоном прозорливого старика, оплакивающего свою красоту, проговорил:

- А ведь на будущий год я горько пожалею, что я уже не такой, как сейчас!..

Дядюшка был огорошен. Вот так академик! Сам себе показывает язык, выбалтывает всю подноготную своих интрижек! Значит, ненормальных можно найти везде, даже в Академии. Восторг Сезера перед великим человеком умерялся сочувствием к его слабостям.

- Ну, а как Фанни?.. Вы все еще в Шавиле?..

Внезапно утихнув, Каудаль сел рядом с Жаном и фамильярно хлопнул его по плечу.

- Ах, бедная Фанни! Нам недолго осталось жить вместе…

- Вы уезжаете?

- Да, скоро… И еще до отъезда женюсь… Я вынужден оставить ее.

Скульптор засмеялся злорадным смехом.

- Браво! Я удовлетворен… Отомсти за нас, мальчик, отомсти этим мерзавкам. Бросай их, обманывай - пусть негодяйки поплачут! Все равно тебе не причинить им столько зла, сколько они причиняют мужчинам.

Дядя Сезер торжествовал:

- Вот видишь! Господин Каудаль совсем не так мрачно смотрит на вещи… Можете себе представить: этот младенец… Его удерживает страх, что она покончит с собой!

Жан чистосердечно признался, что на него произвело сильное впечатление самоубийство Алисы Доре.

- Э, нет, там совсем другое дело!.. - живо возразил Каудаль. - Алиса была печальное, хрупкое существо, руки у нее висели, как плети… Неговорящая куколка… Дешелет ошибался - она покончила с собой не из-за него… Это - самоубийство от усталости, оттого, что надоело жить. А чтобы Сафо покончила с собой?.. Не на такую напали… Любить для нее ни с чем не сравнимое наслаждение, и она сгорит без остатка, дотла. Она из породы “первых любовников”, которые так и не меняют амплуа: у них давно уже нет ни зубов, ни ресниц, а они все играют роли первых любовников… Посмотрите на меня… Разве я когда-нибудь наложу на себя руки?.. Как бы я ни горевал, а все-таки я знаю: уйдет от меня эта - я возьму другую, на мой век хватит… Ваша любовница рассудит, как я, да она и всегда так рассуждала… Правда, она уже не молода, теперь ей придется труднее.

Дядюшка все еще ликовал:

- Ну что, успокоился?

Жан промолчал, но его сомнения рассеялись, и решение он принял твердое. Дядюшка с племянником направились было к выходу, но скульптор окликнул их и показал фотографию, которую он обнаружил на пыльном столе и сейчас вытирал рукавом.

- Поглядите! Вот она!.. Ведь до чего красива, мерзавка!.. Божественно хороша!.. Какие ножки, какая грудь!

Убийственен был контраст между его горящими глазами, страстным голосом и старческой дрожью толстых пальцев, которыми он держал

невидимую стеку, а под пальцами у него трепетали улыбчивые черты и дышали юной прелестью ямочки натурщицы Кузинар.

XII

- Это ты?.. Как ты сегодня рано!..

Она подбирала в саду яблоки, прямо себе в подол, но, увидев его, бросилась к нему и, слегка обеспокоенная смущенным и вместе с тем развязным видом своего возлюбленного, взбежала на крыльцо.

- Что с тобой?

- Да нет, так, ничего… Сейчас самый солнцепек… Давай воспользуемся тихой погодой и погуляем вдвоем в лесу!.. Хорошо?

У нее вырвался крик уличного мальчишки - так она всегда выражала удовольствие:

- Ух ты!..

Больше месяца они не ходили гулять из-за ноябрьских бурь и дождей. В деревне не всегда приятно. Порою жизнь в деревне напоминает жизнь в Ноевом ковчеге, вместе со всякой тварью… Сегодня были приглашены к обеду Эттема, и Фанни пошла на кухню распорядиться. В ожидании Госсен, стоя на Лесничьей дорожке, окидывал домик, согретый мягким светом ненадолго вернувшегося лета, и деревенскую улицу с ее длинными замшелыми плитами тем запоминающим, цепким прощальным взглядом, каким мы охватываем места, которые нам предстоит покинуть.

Окно в столовой было раскрыто, и до слуха Госсена доходили вокализы дрозда вперемежку с распоряжениями, которые Фанни давала прислуге:

- Смотрите не забудьте: в половине седьмого… Сначала подавайте цесарку… Ах да, сейчас я вам выдам чистую скатерть и салфетки…

Ее звонкий, веселый голос покрывал потрескиванье дров в печке и пенье дрозда, обрадовавшегося солнцу. А у Жана, знавшего, что их дому осталось жить не более двух часов, от этих праздничных приготовлений больно сжималось сердце.

Был момент, когда ему хотелось войти и все ей сказать, но он убоялся ее криков, убоялся горячей сцены, свидетелем которой стал бы весь околоток, убоялся скандала, который всполошил бы и верхний и нижний Шавиль. Он знал, что если она разбушуется, то уже не помнит себя, - вот почему он остановился на своем решении увести ее в лес.

- А вот и я!..

Она легко сбежала с крыльца и, взяв его под руку, предупредила, что под окнами соседей надо идти быстрей и говорить шепотом, а то как бы не увязалась Олимпия и не испортила хорошую прогулку. Успокоилась она, только когда они, пройдя улицу и железнодорожное полотно, свернули налево, в лес.

Стоял теплый, ясный день. Солнечный свет смягчался серебристым туманом, зыблившимся в воздухе, увлажнявшим его и цеплявшимся за кустарник, за деревья, а на самых верхушках среди уцелевших золотых листьев виднелись сорочьи гнезда, зеленели шапки омелы. Протяжно кричала какая-то птица, напоминая своим криком скрип подпилка; словно дровосек топором, стучал клювом дятел.

Жан и Фанни шли сейчас медленно, оставляя вмятины на мокрой после осенних дождей земле. Ей стало жарко от быстрой ходьбы, щеки у нее разрумянились, глаза блестели, она остановилась и сняла подарок Росы, дорогой, но непрочный остаток былого великолепия - длинную кружевную мантилью, которую она, выходя из дому, накинула на голову. То дешевое черное шелковое платье, лопнувшее под мышками и по швам, которое было на ней сегодня, она носила уже три года. Когда же она, перепрыгивая лужу, приподнимала его, видно было, что каблуки у нее на ботинках стоптаны.

Как покорно и безропотно, как весело несла она бремя полунищеты, - весело потому, что она думала только о нем, о его благополучии, потому, что для нее не было большего счастья, чем прикоснуться к нему, повиснуть

на его руке! И Жан, видя, как она оживилась от возвращения летней погоды и от прилива любви, дивился ее способности молодеть, ее чудодейственному свойству - забывать и прощать, этой ее особенности, благодаря которой она сумела сохранить такую жизнерадостность, такую беззаботность после стольких невзгод, после стольких страданий и слез, следы которых оставались у нее на лице до первого порыва веселости.

- Гриб! Да правда же, гриб!..

Она заглядывала под деревья, увязала по колено в сухих листьях, возвращалась, раздвигая колючие ветки, растрепанная, растерзанная, и с торжеством показывала Жану сетку на ножке гриба, отличавшую съедобный гриб от поганки.

- Смотри! Похоже на тюль!..

Занятый своими мыслями, Госсен не слушал ее.

”Сейчас?.. Или подождать?..” - спрашивал он себя, и всякий раз у него не хватало мужества: то она заливалась смехом, то место было неподходящее… И он увлекал ее все дальше и дальше, точно убийца, который прикидывает, где лучше нанести удар.

Наконец он совсем собрался с духом, но ему помешал человек, вышедший из-за поворота дорожки; оказалось, что это лесник Ошкорн, который уже несколько раз попадался им на глаза во время прогулок. Бедняга жил сначала в отведенной ему государством сторожке на берегу пруда и из-за этого потерял сперва двоих детей, потом жену, - их свела в могилу болотная лихорадка. После первого же смертельного случая врач заявил, что помещение сторожки вредно для здоровья: слишком близко вода и ее испарения. Но, несмотря на всяческие ходатайства и удостоверения, лесника держали там два года, три года, и за это время все его родные перемерли, за исключением маленькой девочки, с которой он в конце концов перебрался в новый домик на опушке леса.

Ошкорн, воплощение исполнительности, преданности старого служаки, с лицом упрямого бретонца, с открытым и смелым взглядом, с покатым лбом, выглядывавшим из-под форменной фуражки, шел с ружьем за спиной, а на руках держал спящую девочку, прильнувшую к его плечу.

- Как ее здоровье? - спросила Фанни, улыбнувшись четырехлетней девчушке, бледной и худой, оттого что в ней сидела лихорадка, встрепенувшейся и открывшей большие воспаленные глаза.

Лесник вздохнул.

- Неважно… Я уж ее всюду таскаю с собой… Ничего не ест, ничего-то ей не хочется. Видно, поздно мы с ней перешли на другое место - перешли, когда она уже захворала… Попробуйте подержать ее, сударыня: легонькая, как все равно листик… Поди, скоро вслед за другими отправится на тот свет… Ничего не поделаешь, воля божья!..

Эти слова: “Воля божья”, - произнесенные еле слышно, себе в усы, были единственным выражением его возмущения бессердечием канцелярий и канцелярских крыс.

- Она дрожит. Ей, должно быть, холодно?

- Это лихорадка, сударыня.

- Погодите, сейчас мы ее согреем…

Фанни взяла мантилью, висевшую у нее на руке, и закутала малышку.

- Вот так, пусть она у нее и останется… Потом это будет ее подвенечный убор…

Отец горько усмехнулся, в знак благодарности помахал ручонкой девочки, снова погружавшейся в забытье, бледной до синевы и во всем белом, точно мертвенькая, а затем пошел своей дорогой, еще раз прошептав те же слова: “Воля божья”, - заглушенные хрустом веток у него под ногами.

Фанни взгрустнулось, и она прижалась к Госсену со всей пугливой нежностью женщины, которую всякое волнение, и горестное и радостное, толкает в объятия к любимому человеку.

”Какая у нее добрая душа!..” - думал Жан, но от этой мысли решение его не становилось менее твердым, напротив, он укреплялся в нем, оттого что на противоположном склоне дорожки, куда они свернули, перед ним встал

образ Ирены, воспоминание о сияющей улыбке, которую он увидел здесь впервые и которая мгновенно покорила его, задолго до того, как он познал всю глубину ее прелести, познал тайну ее мудрого обаяния. Жан подумал, что он дотянул до последней минуты, что сегодня четверг. “Ну, пора…” Он дал себе слово, что непременно скажет, когда они дойдут вон до той полянки.

Впереди просека, поваленные деревья, груды щепок, кровоточащей коры, кучи хвороста, угольные ямы… Ниже виден пруд, над которым поднимается белый пар, а на берегу пруда заброшенный домишко с обваливающейся крышей, с раскрытыми, разбитыми окнами - Ошкорнова мертвецкая. Дальше лес, поднимаясь в гору, тянется до самого Велизи: рыжий кустарник и часто насаженные печальные строевые деревья… Жан остановился.

- Давай отдохнем.

Они сели на длинное срубленное дерево, когда-то бывшее дубом, число веток которого можно было определить по числу ран, нанесенных ему топором. Здесь было тепло, не так мрачно благодаря отраженно падавшему бледному свету осеннего солнца и пахло фиалками.

- Как тут хорошо!.. - сказала она, разнеженно опустив голову ему на плечо и намереваясь поцеловать его в шею.

Он отстранился, взял ее за руку. Заметив, что лицо его неожиданно приняло жесткое выражение, она испугалась:

- Что такое? Что с тобой?

- Печальная новость, мой милый друг… Помнишь: вместо меня поехал Эдуэн?..

Он говорил запинаясь, хриплым голосом, звук которого поначалу изумил его самого, но который все же окреп к концу заранее придуманной им истории… Эдуэн, прибыв на место назначения, заболел, и Жан должен замещать его… Ему легче было это выговорить, потому что это было не так жестоко, как голая правда. Лицо у Фанни стало даже не белым, а серым, но она с остановившимся взглядом выслушала Жана до конца, не прерывая.

- Когда же ты едешь? - спросила она и отпустила его руку.

- Нынче же вечером… ночью… - ответил Жан и с фальшивой грустью в голосе добавил: - Я хочу провести сутки в Кастле, оттуда в Марсель, а из Марселя…

- Довольно! Не лги! - крикнула она, и вихрь ярости сдернул ее с места. - Не лги, все равно не умеешь!.. На самом деле ты женишься… Это тебя твоя семейка настраивает… Они так боятся, что я тебя удержу, что я тебя не пущу охотиться за тифом или за желтой лихорадкой!.. Теперь они довольны… Барышня, наверное, в твоем вкусе… А я-то тебе еще в четверг галстук повязывала!.. Надо же быть такой дурой!

Она смеялась надрывным, ужасным смехом, от которого у нее кривился рот, и Жану была видна дыра сбоку: по-видимому, только что - прежде Жан этого не замечал - сломался один из ее чудных, перламутровых зубов, которыми она так гордилась. Ее сразу осунувшееся, землистого цвета, лицо, ее убитый вид и еще эта дыра во рту - все переворачивало Госсену душу.

- Выслушай меня… - сказал он и, взяв ее за плечи, насильно усадил напротив себя. - Ну да, я женюсь… Ты отлично знаешь, что на этом настаивал мой отец. Да и не все ли тебе равно, раз я так или иначе должен уехать?..

Фанни высвободилась - она боялась смягчиться.

- Значит, ты заставил меня отшагать по лесу целую милю только для того, чтобы мне об этом сообщить?.. Если, мол, она станет кричать, никто не услышит… Да нет, ты же видишь: ни одной вспышки, ни одной слезы. Хоть ты и красавчик, а ты у меня вот где сидишь… Можешь убираться, я тебя удерживать не стану. Давай тягу на остров вместе с женой, вместе с твоей “крошкой”, как у вас принято выражаться… Она, наверно, чистюля, эта твоя крошка… Страшна, как горилла, а может, уже и с пузом… Ведь те, что тебе ее выискали, такие же простофили, как ты.

Фанни уже не в состоянии была сдерживаться - она вылила на Госсена целый ушат оскорблений, помоев, а когда выплеснула, то была лишь способна с вызывающим видом, с каким показывают кулак, бормотать себе под нос:

- Трус!.. Лгун!.. Трус!..

Теперь уже Госсен слушал молча и не делал ни малейших усилий, чтобы остановить ее. Он предпочитал видеть ее именно такой - грубой, отталкивающей, родной дочерью дядюшки Леграна. Так ему легче будет с ней расстаться… Догадалась ли Фанни? Кто знает! Но только она вдруг смолкла, упала плашмя на землю, уткнулась лицом в колени Жана и забилась в исступленных рыданиях, прерывавших ее мольбу:

- Прости меня, пожалей!.. Я тебя люблю, у меня никого нет на свете, кроме тебя… Любовь моя, жизнь моя, не уходи от меня!.. Не покидай меня!.. Как же я буду жить без тебя?

Ее душевная боль отзывалась в его душе… Этого-то он и боялся!.. При виде ее слез в горле у него тоже закипали слезы, и он запрокидывал голову, чтобы они не выливались, он старался подавить их глупыми словами и все выставлял один и тот же разумный довод:

- Но ведь я все равно должен уехать…

Выпрямившись, она вложила в свой вопль всю крепость еще не утраченной ею надежды:

- Не уезжай! Послушай, что я тебе скажу: не прогоняй меня, - я тебя еще не долюбила… Так любить тебя, как я, никто уже не будет… Ты успеешь жениться - ведь ты еще так молод… а моя песенка скоро будет спета… Я уже буду тебе не нужна, и наш разрыв произойдет сам собой.

У Госсена хватило решимости встать, и он уже собирался сказать ей, что все ее усилия напрасны, но Фанни вцепилась в него и, волочась за ним на коленях по не просохшей в этом низком месте грязи, в конце концов заставила сесть на место и, снова положив голову ему на колени, дыханием, излетавшим из ее уст, тем влекущим, призывным, что было в ее взгляде, детскими ласками, - она то гладила его по лицу, которое принимало все более напряженное выражение, то ерошила ему волосы, то проводила пальцем по губам, - попыталась разжечь потухший костер их любви, шепотом напоминала ему об изведанных наслаждениях, о блаженном изнеможении, о долгих самозабвенных объятиях в воскресные дни. И все это ничто по сравнению с тем, что она обещает подарить ему в будущем. Его ожидают иные поцелуи, мгновенья иных восторгов, она

придумает для него новые ласки…

Фанни нашептывала Госсену слова, которые мужчины слышат у дверей вертепов, а по щекам у нее катились крупные слезы, лицо выражало ужас и муку, она силилась отогнать от себя грозное видение, молила, словно заклиная его:

- Не хочу, чтоб это было!.. Скажи, что ты меня не бросишь!..

И снова рыдания, стоны, мольбы о пощаде, как будто в руках у него она видела нож.

Палач оказался столь же малодушным, как и его жертва. Ее ласки не страшили его, тем паче - ее гнев. Госсена обезоруживало ее отчаяние, этот крик раненой лани, наполнявший лес и замиравший на глади стоячей, гнилостной воды пруда, куда опускалось багровое печальное солнце… Госсен знал, что ему будет тяжело расставаться с ней, но такой острой боли он не предчувствовал. Только его ослепленность новой любовью не дала ему схватить ее за обе руки, заставить подняться с колен и сказать ей: “Я остаюсь, успокойся, я остаюсь…”

Сколько времени они так мучили друг друга?.. Солнечный шар превратился в полосу, все сужавшуюся на западе. Вода в пруду стала дымчатой. Казалось, ядовитые его испарения распространяются по оврагу, по лесу и по холмам. В наступавшей темноте Госсен видел лишь обращенное к нему бледное лицо Фанни и ее раскрытый рот, откуда исходил неумолчный стон. Наконец стало совсем темно, и крики затихли. Они сменились нескончаемыми потоками слез, тем затяжным дождем, которому предшествует бушеванье грозы, и глухими, глубокими стонами, словно ей мерещилось что-то страшное и неотвязное.

А потом - тишина. Все кончено, зверь загнан… Поднимается холодный ветер, раскачивает ветви деревьев, доносит до слуха отдаленный бой часов.

- Ну, пойдем! Не ночевать же тебе в лесу!

Он бережно поднимает ее; его руки чувствуют, какое у нее сейчас безвольное, по-детски покорное тело и как все оно содрогается при всхлипываньях. Можно подумать, что она испытывает к нему страх и почтение как к мужчине, проявившему силу воли. Она идет рядом,

старается идти в ногу, но не решается взять его под руку. Эту мрачную пару, неуверенной походкой пробирающуюся в лесу, где им указывает направление тускло отсвечивающая дорожка, легко принять за крестьянина и крестьянку, еле передвигающих ноги от усталости после целодневных полевых работ.

На опушке горит огонек; дверь лачужки Ошкорна открыта, и при свете, бьющем оттуда, видны два неподвижных силуэта.

- Госсен! Это вы? - спрашивает Эттема и вместе с лесником идет навстречу.

Они уже забеспокоились: вас, мол, все нет и нет, а в лесу крики. Ошкорн хотел было взять ружье и пойти на поиски…

- Еще раз здравствуйте!.. Как моя девочка рада вашей шали, сударыня!.. Видно, придется ее в ней и спать положить…

Еще так недавно Фанни и Жан действовали сообща, сделали доброе дело, а теперь их руки, обвившись вокруг почти безжизненного детского тельца, встретились в последний раз.

- До свиданья, до свиданья, дядя Ошкорн!

Эттема, Госсен и Фанни скорым шагом направились к дому, и дорогой Эттема, которого, видимо, разбирало любопытство, опять заговорил о криках, долетавших из лесу:

- То громче, то тише, как животное под ножом… Неужели вы не слышали?

Госсен и Фанни промолчали.

На углу Лесничьей дорожки Жан заколебался.

- Пообедай!.. - молящим шепотом проговорила Фанни. - Все равно твой поезд уже ушел. Поедешь с девятичасовым.

Госсен идет домой. Чего ему бояться? На вторую такую сцену у нее уже не хватит сил, так почему бы и не порадовать ее, тем более что это ему

ничего не стоит?

В столовой тепло, лампа горит ярко, служанка, услыхав, как они шагают по проулку, поспешила подать суп.

- Наконец-то! Где вы пропадали?..

Олимпия уже сидит за столом; на груди у нее топырится салфетка, которую она поддерживает своими короткими руками. Она снимает крышку, прикрывавшую суповую миску, и вдруг у нее вырывается невольный крик:

- Господи Иисусе! Душенька моя, что с вами?..

Фанни спала с лица, постарела чуть ли не на десять лет, у нее опухшие, красные веки, платье в грязи, грязь пристала к волосам, смятение, беспорядок во всем, вид точно у проститутки после облавы… Вот как сейчас выглядит Фанни. Она переводит дух, ее отпылавшие печальные глаза щурятся от яркого света, и вскоре тепло маленького домика, уют накрытого стола пробуждают в ней воспоминания о счастливых днях и вызывают новый ливень слез, сквозь который можно различить слова:

- Он меня бросил… Он женится.

Эттема, его жена и служанка переглядываются, смотрят на Госсена.

- Все-таки давайте обедать, - с плохо скрытой яростью говорит толстяк.

Чавканье сливается с плеском воды в соседней комнате, где умывается Фанни. Когда она возвращается, синяя от пудры, в белом шерстяном пеньюаре, супруги Эттема с тревогой впиваются в нее глазами, ожидая нового взрыва, но, к вящему их удивлению, она молча садится за стол и, точно потерпевший кораблекрушение, набрасывается на еду, - ей словно хочется заморить сосущего червя тоски, заполнить бездну своего отчаяния всем, что у нее сейчас под рукой: хлебом, капустой, крылышком цесарки, яблоками. И она ест, ест, ест…

Разговор сначала не клеится, однако мало-помалу становится все более оживленным, а так как с мужем и женой Эттема можно говорить только о вещах житейских, обыденных, о том, например, как делаются блинчики с

вареньем или на чем лучше спится - на перине или на волосяном матрасе, то время проходит незаметно, и вот уже подают кофе, который чета толстяков, поставив локти на стол, пьет со смаком, добавляя для вкуса жженого сахару.

Какими добрыми взглядами, доверчивыми и спокойными, обмениваются эти грузные спутники, делящие и кров и ложе! Они и не помышляют о расставании. Жан перехватывает их взгляд, и в этой привычной, интимной обстановке, в этой комнате, где каждый уголок полон воспоминаний, его обволакивает то приятное оцепенение, какое овладевает человеком от усталости и после сытной еды. Фанни не спускает с него глаз; она незаметно подсаживается поближе к нему, просовывает ноги между его колен, а ее рука в это время скользит под его руку.

- Ах ты!.. Уже девять часов!.. - вдруг опомнившись, говорит он. - Мне пора, прощай!.. Я напишу тебе.

Вот он уже на ногах, выходит наружу, перебегает улицу, впотьмах ощупью поднимает перекладину. Две руки обхватывают его сзади.

- Обними меня в последний раз!..

Она распахивает пеньюар, и он ощущает ее наготу, его пропитывают запах и тепло женского тела, его потрясает до дна души прощальный поцелуй, оставляющий на его губах вкус горячечного возбуждения и слез. Заметив, что воля у него слабеет, она произносит чуть слышным шепотом:

- Еще одну ночь, только одну!..

Гудок!.. Поезд идет!..

Как у него хватило сил вырваться и добежать до станции, фонари которой светили сквозь безлистые ветви деревьев?.. Забившись в угол вагона, все еще тяжело дыша и сам себе дивясь, он смотрел в окно: вот освещенные окна его домика, вот белая фигура у шлагбаума.

- Прощай! Прощай!..

От этого крика исчез безмолвный ужас, который на Госсена навеяли изгиб железной дороги и его возлюбленная, стоявшая на том самом месте,

где ему рисовало ее видение смерти.

Он высунулся в окно и долго смотрел, как, все уменьшаясь в размерах, уносился, убегал вместе со всем, что его окружало, их маленький домик, свет которого казался теперь блуждающим огоньком. И вдруг он почувствовал, что он счастлив, что с души у него свалилась огромная тяжесть. Как легко дышалось, до чего красива была Медонская долина и высокие черные холмы, за которыми открывался вдали светящийся треугольник бесчисленных мерцающих огоньков, стройными рядами двигавшихся к Сене! Там его ждала Ирена, и к ней стремил его поезд, мчавшийся на всех парах, стремил жар его влюбленности, стремил неудержимый порыв к чистой, обновленной жизни…

Париж!.. Госсен остановил экипаж с тем, чтобы ехать прямо на Вандомскую площадь. Но при свете газовых фонарей он заметил, что одежда и обувь у него в грязи, в густой, липкой грязи, - прошлое продолжало давить на него всей своей тяготой и нечистотой. “Нет, нет, сегодня нельзя!..”

И Жан поехал на улицу Жакоб, в те меблированные комнаты, где он жил прежде и где Балбес держал для него номер рядом со своим.

XIII

На другой день Сезер поехал в Шавиль исполнять щекотливое поручение, то есть забрать вещи и книги племянника, завершить разрыв переездом, и вернулся очень поздно, когда Госсен уже извел себя дикими и зловещими догадками. Наконец фиакр с поднятым верхом, грузный, как похоронные дроги, выехал из-за угла на улицу Жакоб, и Жан увидел перевязанные веревками сундуки и сразу узнал свой огромный чемодан. У дядюшки был таинственный и удрученный вид.

- Я задержался, чтобы уж все сразу забрать и больше туда не ездить…

Он показал на сундуки, которые двое слуг расставляли в комнате.

- Здесь белье, верхняя одежда, а там твои бумаги и книги… Я не взял только письма. Она умоляла меня не брать их: ей хочется перечитать, хочется что-то иметь на память о тебе… Я решил, что это не опасно… Она такой хороший человек!..

Сезер тяжело вздохнул и, сев на чемодан, вытер со лба пот широким, как салфетка, платком из грубого шелка. Жан не отважился выпытывать подробности, выспрашивать, в каком состоянии он ее нашел, а дядюшке не хотелось огорчать его, и он отмалчивался. Оба время от времени нарушали тягостное, полное недосказанностей молчание суждениями о внезапной перемене погоды, о том, что завернули холода, о том, как уныло выглядит эта окраина Парижа, пустынная, голая, засаженная вместо деревьев фабричными трубами и уставленная громадными, цилиндрической формы, чугунными водохранилищами огородников. Наконец Жан не выдержал:

- Она ничего не просила мне передать?

- Нет… Вообще ты можешь быть спокоен… Она не будет к тебе приставать, она приняла удар мужественно и с большим достоинством…

Жану послышался в тоне дядюшки оттенок осуждения, послышалась укоризна.

- Так или иначе, я свое дело сделал, - снова заговорил дядюшка. - А все-таки я бы предпочел, чтобы меня еще раз исцарапала Морна, чем видеть, как убивается эта несчастная девушка.

- Она очень плакала?

- Ах, милый мой!.. Она так горько, так неутешно плакала, что, глядя на нее, и я зарыдал и никак не мог…

Он поперхнулся и, как бы желая стряхнуть с себя волнение, дернул головой, похожей на голову старой козы.

- Одним словом, ничего не поделаешь… Ты не виноват… Ты же не можешь прожить с ней всю жизнь… Приличия соблюдены, ты оставил ей денег, обстановку… А теперь да здравствует любовь! Только смотри, чтобы у тебя с женитьбой все вышло гладко… Тут я тебе не могу пригодиться… Пусть этим занимается консул… Вот насчет того, чтобы

пресечь что-нибудь “на стороне”, - это я мастер…

Тут он опять помрачнел и, прижавшись лбом к оконному стеклу, глядя на низкое небо, поливавшее крыши дождем, прибавил:

- Так или иначе, грустно стало жить на свете… В мое время люди веселей расставались.

Наконец Балбес уехал в родные края и увез свою подъемную машину, и теперь племяннику явно недоставало его непоседливого и словоохотливого благодушия, тем более что Жану целую неделю предстояло прожить с ощущением пустоты и одиночества, мрачной неприкаянности вдовства. При таких обстоятельствах, даже если вы не жалеете о предмете своей былой любви, вам нужно, чтобы кто-то около вас был, одному вам невмочь. Совместная жизнь, когда все делится пополам - и кусок хлеба и ложе, - образует множество невидимых тонких нитей, прочность которых становится ощутимой, только если вы пытаетесь их разорвать, а без боли, без надлома в душе это вам не удастся. Благодаря силе общения, силе привычки люди обретают чудодейственное свойство взаимовлияния, доходящего до того, что два существа, долго прожившие вместе, в конце концов начинают походить друг на друга.

Пять лет, проведенные с Сафо, не успели вылепить из Жана нечто подобное ей, но на его теле остались следы цепи, и он до сих пор мысленно влачил ее тяжесть. После службы ноги сами несли его в Шавиль, утром он иной раз искал глазами рядом с собой, на подушке, не сдерживаемые гребнем тяжелые каштановые волны волос, на которые упал первый его поцелуй.

Особенно долгими казались ему вечера в комнате, напоминавшей начальную пору их близости, когда его возлюбленная была совсем другой, деликатной и молчаливой, и когда ее карточка пропитывала стекло ароматом алькова и тайны, окружавшей ее имя: Фанни Легран. Госсен ежевечерне выходил побродить и бродил до устали или пытался забыться в каком-нибудь театрике, где горели огни, где играла музыка, и так продолжалось до тех пор, пока наконец старик Бушро не разрешил ему проводить с невестой три вечера в неделю.

У них все уже было решено. Ирена любила его, дьядье предстоящий

брак был по душе. Свадьбу предполагалось отпраздновать в последних числах апреля, после того как у Бушро кончатся лекции. Три зимних месяца были отведены жениху с невестой для того, чтобы видеться, чтобы лучше узнать друг друга, чтобы их сильнее тянуло друг к другу, чтобы у них было время в волнующих и чарующих словах изъяснить значение первого взгляда, соединяющего души, и первого признания, повергающего души в смятение.

Когда Жан вечером после помолвки пришел к себе, ему совсем не хотелось спать, и он, повинуясь естественному желанию - привести в соответствие уклад жизни с образом мыслей, решил придать комнате порядливый вид рабочего кабинета. Разложил все на столе, развязал и принялся расставлять книги, которые в спешке были свалены как попало в сундук, так что свод законов оказался по соседству со стопкой носовых платков и рубашкой, в которой он работал в саду. И вот тут-то из раскрытого справочника по торговому праву, к которому он особенно часто обращался, выпало письмо без конверта, написанное почерком его бывшей возлюбленной.

Фанни, решив, что растроганность Сезера долго не продлится, предпочла положиться на волю случая, который не замедлит представиться во время будущих занятий Жана, - ей казалось, что так дело будет вернее. Жан сначала заколебался: читать или не читать? Но первые же слова вынудили его сдаться, ибо слова эти были ласковые и благоразумные и только неровные строчки, говорившие о том, как дрожало у нее перо, выдавали ее волнение. Она просила об одной милости, только об одной: хоть изредка к ней приезжать. Она ничего ему не скажет, ни в чем не упрекнет, не станет препятствовать его женитьбе, не станет удерживать его: она сознает, что расстались они окончательно и бесповоротно. Ей только бы видеть его!..

”Подумай, какой это был для меня страшный удар, совершенно неожиданный, внезапный… Я как после похорон или после пожара, не знаю, за что взяться. Плачу, жду, смотрю туда, где еще так недавно видела свое счастье. Только ты можешь приучить меня к моему новому положению… Будь милосерд: приезжай ко мне, тогда я не буду чувствовать себя такой одинокой… Я боюсь самой себя…”

Эти жалобы, этот молящий зов пронизывали все письмо, и зачин у них

был одинаковый: “Приезжай; приезжай!..” Жану казалось, что он снова там, на лесосеке, и у ног его Фанни, освещенная фиолетово-пепельным светом заката, и он видит ее сморщенное, мокрое от слез лицо, ее глаза, которые смотрят на него с таким отчаянием, ее разжатый криком рот, в который все гуще набивается сумрак. Вот что преследовало его всю ночь, вот что не давало ему спать, а вовсе не то радостно-возбужденное состояние, в каком он вернулся от своей невесты. Ему все представлялось постаревшее, поблекшее лицо Фанни наперекор его отчаянным усилиям вызвать в воображении другое лицо, с правильными чертами, овал которого напоминал строение цветка гвоздики, с розовыми огоньками на щеках, загоравшимися от признаний в любви.

Письмо было написано неделю тому назад. Целую неделю несчастная женщина ждала, что он ответит или приедет, что он по ее просьбе поможет ей смириться. Но почему же она не написала ему еще? А вдруг она больна? И прежние страхи опять полезли ему в голову. Жан подумал, что он все может узнать у Эттема, и, памятуя его аккуратность, в известный час стал его караулить возле Главного артиллерийского управления.

Часы на колокольне церкви во имя св. Фомы Аквинского только успели пробить десять, когда из переулка на площадь вышел, куря трубку и поддерживая ее обеими руками, чтобы теплее было пальцам, тучный мужчина в пальто с поднятым воротником. Жан заметил его издали и почувствовал сильное волнение - так живо напомнил ему Эттема его недавнее прошлое. Эттема, видимо, еле сдерживал свое возмущение.

- А, это вы!.. Как мы ругали вас всю эту неделю, если б вы только знали!.. Переехали мы в деревню, думали, там будет спокойнее, а…

И у двери присутственного места, докуривая трубку, он рассказал Жану, что в прошлое воскресенье они позвали обедать Фанни с мальчиком, которого на этот день отпустили из пансиона, - они нарочно это затеяли, чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей. И правда: обед прошел довольно оживленно, она даже спела им за десертом. В десять часов Фанни с мальчиком от них ушли, и они уже предвкушали удовольствие залечь спать, как вдруг кто-то постучал в окно, а вслед за тем послышался испуганный голос Жозефа:

- Идите скорей! Мама хочет отравиться…

Эттема бросается к ней и прибегает как раз вовремя: ему удается вырвать у нее пузырек с опием. Пришлось с ней повозиться: схватить ее обеими руками, держать и уклоняться от ударов головой и от ударов гребнем, - она ему все лицо расцарапала. Во время схватки пузырек разбился и опий вытек - остались только пятна на платье да запах отравы…

- Но, понимаете, подобные сцены, вся эта драма из газетной хроники для таких тихих людей, как мы… Словом, мы уже больше не можем, я отказался от квартиры, через месяц мы переедем…

Эттема положил трубку в футлярчик и, вполне мирно простившись, отворил низенькую калитку и прошел во дворик, а Госсен, ошеломленный тем, что сейчас услышал, остался стоять на тротуаре.

Он представил себе всю эту сцену, разыгравшуюся в комнате, которая еще недавно была их комнатой, испуг мальчика, звавшего на помощь, драку с толстяком, он ощущал на губах вкус опия, его одуряющую горечь. Целый день его мучил страх за нее, усиливавшийся при мысли, что скоро она останется совсем одна. Когда Эттема уедут, кто схватит ее за руку при новой попытке?..

Второе письмо от Фанни несколько успокоило Жана. Она благодарила его за то, что он оказался не таким жестоким, каким прикидывался, за то, что он еще проявляет интерес к ней - несчастной, брошенной женщине:

”Ведь тебе все сказали, правда?.. Я хотела умереть… Это оттого, что я так одинока!.. Я попыталась, но неудачно: меня удержали, а может быть, у меня рука дрогнула… может быть, меня остановил страх перед страданиями, боязнь изуродовать себя… Бедная маленькая Доре! Откуда у нее взялись силы на это решиться?.. Как только чувство стыда после покушения на самоубийство стало не таким жгучим, я с радостью подумала о том, что смогу тебе написать, смогу любить тебя хотя бы издали, смогу когда-нибудь увидеть тебя: ведь я все-таки не теряю надежды, что ты ко мне приедешь, как приезжают навестить несчастную подругу, в дом, где траур, - из жалости, только из жалости”.

С тех пор он стал получать из Шавиля раз в два-три дня письма, то короткие, то длинные - в зависимости от настроения той, которая их писала, и этот дневник горя, который у Госсена не хватало духу отослать

обратно, затоплял его доброе, чувствительное сердце простой человеческой жалостью, жалостью не к любовнице, но к живому существу, страдающему из-за него.

Настал день отъезда соседей - свидетелей ее счастья, с которыми у нее было связано столько воспоминаний. Теперь ей напоминали о нем только вещи, стены домика и служанка, бедная дикарка, которая понимала в том, что происходит, столько же, сколько дрозд, зябнувший в зимнюю стужу и печально хохлившийся в углу клетки.

Несколько дней спустя, едва лишь бледный луч заиграл на оконном стекле, она проснулась веселая: сегодня он приедет!.. Почему она в этом уверена?.. Так, у нее предчувствие… Она принялась наводить в доме порядок, а себя превратила в кокетливую женщину: надела праздничное платье, сделала свою любимую прическу. Она все надеялась, пока не померкла последняя полоска зари, сидела у окна в столовой и считала поезда, ждала, не услышит ли знакомые шаги на Лесничьей дорожке… Надо же быть такой сумасшедшей!..

Время от времени она писала ему несколько строк: “Дождь идет, темно… Я одна и плачу по тебе…” А то просто посылала ему в конверте жалкий цветок, мокрый, закоченевший, последний цветок из их садика. Этот найденный под снегом цветок внятнее, чем все ее жалобы, говорил о том, что на дворе зима, говорил об одиночестве, о заброшенности. Госсен представлял себе это место, где кончалась дорожка, видел клумбы и юбку с мокрым подолом, одиноко мелькавшую в саду.

У Госсена сердце сжималось от жалости к Фанни, и, несмотря на разрыв, он мысленно все время был с ней. Он постоянно думал о ней, пытался рисовать себе ее образ. Но в силу странного каприза памяти, хотя со дня разлуки прошло не больше полутора месяцев, убранство комнат он помнил до мельчайших подробностей, от клетки с Ла Балю до висевших напротив деревянных часов с кукушкой, которые они выиграли в лотерею на ярмарке, помнил, как при малейшем порыве ветра ветки орешника стучали в окно умывальной комнаты, а вот образ Фанни стал расплываться. Она была для него окутана дымкой, и только одна черта, резкая, неприятная, проступала отчетливо: кривая улыбка из-за дыры во рту на месте сломанного зуба.

Она и так постарела, что же ждет впереди это несчастное существо, с которым он был близок в течение долгого времени? Когда у нее выйдут деньги, которые он ей оставил, куда она пойдет, на какое опустится дно? И Госсен вспоминал, как он однажды вечером встретил в английском кабачке унылую проститутку, спросившую себе ломтик копченой лососины и умиравшую от жажды. Такая же участь постигнет и ее, ее, которая так о нем заботилась, которая окружала его страстной и преданной нежностью… Эта мысль приводила Госсена в отчаяние… Ну, а что же ему делать? Значит, только из-за того, что он имел несчастье встретить эту женщину и некоторое время жить с ней, он обречен быть к ней прикованным, обязан пожертвовать ей своим счастьем? Почему он должен составлять исключение из общего правила? Нет, это несправедливо!

Госсен дал себе слово не видеться с Фанни, но писать он ей писал. И в этих его письмах, умышленно рассудочных и сухих, под призывами к благоразумию и советами успокоиться угадывалось волнение. Он убеждал ее взять Жозефа из пансиона и заняться им: это, мол, будет для нее отвлечением, но Фанни не согласилась. Ребенок не должен видеть ее страдания, ее уныние. Довольно и того, что в воскресные дни он бродит по всем комнатам, по саду, понимая, что у них в доме горе, но не решаясь больше спрашивать о “папе Жане” после того, как он однажды спросил, а Фанни еле выговорила сквозь рыдания, что папа уехал, уехал совсем.

- Все папы от нас уходят! - заметил мальчик, и эти слова брошенного ребенка, приведенные в душераздирающем письме Фанни, камнем легли на душу Госсена. Мысль, что она в Шавиле, одна, так его угнетала, что он посоветовал ей вернуться в Париж, начать встречаться с людьми. Фанни, обладавшая горьким опытом встреч и разрывов с мужчинами, усмотрела в этом совете чудовищный эгоизм, желание избавиться от нее навсегда, желание сыграть на ее влюбчивости. Она ему ответила откровенно:

”Помнишь, что я тебе как-то сказала?.. Я буду твоей несмотря ни на что, твоей любящей и верной Фанни. В нашем домике все полно тобой, и я ни за что отсюда не уеду… Что я буду делать в Париже? Я ненавижу свое прошлое: оно отдаляет тебя от меня. А кроме того, подумай, чему ты нас обоих подвергаешь. Ты можешь за себя ручаться? Лучше приезжай ко мне, бессердечный ты человек… Навести меня хоть раз… В последний…”

Он не поехал. Но в одно из воскресений, днем, он сидел у себя в комнате

и работал, как вдруг кто-то два раза тихо постучал к нему в дверь. Он сразу узнал стремительность, с какой она обычно оповещала о своем приходе, и невольно вздрогнул. Боясь, что он велел швейцару никого к нему не пропускать, она, ни о чем не спрашивая, взлетела на площадку его этажа. Неслышно ступая по ковру, он подошел к двери и через щель уловил, как тяжело она дышит.

- Жан! Ты дома?..

О, этот робкий, придушенный голос!..

Затем еще раз, совсем тихо:

- Жан!..

За этим последовал подавленный вздох, шелест просовываемого письма и прощальная ласка воздушного поцелуя.

Спускалась она медленно, со ступеньки на ступеньку, очевидно ожидая, что Жан ее окликнет. Только когда ее шаги затихли, Жан подобрал с полу и распечатал письмо. Сегодня утром дочку Ошкорна похоронили на кладбище при детской больнице. Фанни приехала в Париж вместе с ее отцом и другими шавильцами и не могла устоять против искушения повидаться с Жаном или передать ему это заранее написанное письмо:

”Помнишь, что я тебе писала?.. Если б я жила в Париже, я бы не допустила, чтобы к тебе ходил еще кто-нибудь, кроме меня… Прощай, дружочек! Я еду к нам…”

Когда он мутными от слез глазами читал это письмо, ему припомнилась подобная сцена на улице Аркад, горе отставленного любовника, письмо, просунутое в дверь, и бездушный смех Фанни. Она любит его сильнее, чем он Ирену! Или, быть может, мужчина, принимающий более деятельное участие в повседневной битве жизни, не целиком отдается любви и не может позабыть обо всем, оравнодушеть ко всему, кроме всепоглощающей, единственной страсти?..

Эта душевная мука, эта пытка жалостью становилась менее мучительной лишь в присутствии Ирены. Только под мягкими голубыми лучами ее глаз тоска растаивала, отпускала его. Оставалась страшная душевная усталость: ему хотелось положить голову на плечо Ирене и так сидеть: молча, не шевелясь, под ее защитой.

- Что с вами?.. - спрашивала Ирена. - Разве вы не счастливы?

Да нет, он очень счастлив! Но почему его счастье омрачено столькими печалями, омочено столькими слезами? Иной раз он готов был сказать ей все, как умному и доброму другу. Милый чудак! Он не думал о том, в какое смятение приводят такие признанья юные хрупкие души, какие неизлечимые раны способны они нанести доверчивому чувству. Ах, если б он мог увезти ее, бежать с ней! Это положило бы конец мучениям. Но старик Бушро не желал уступить ни единого часа! “Я стар, я болен… Я больше не увижу мое дитя, не отнимайте же ее у меня раньше срока!..”

Этот великий человек, несмотря на всю его внешнюю суровость, был превосходнейшим человеком. Он был обречен, он сам нашел у себя болезнь сердца, следил за ее развитием, но говорил о ней с поразительным присутствием духа, задыхаясь, читал лекции, тщательно выслушивал больных, гораздо менее тяжелых, чем он. Этот обширный ум страдал одной-единственной слабостью, обличавшей в нем туренского крестьянина: он преклонялся перед титулами, перед знатью. И воспоминание о башенках Кастле, мысль о древности рода д’Арменди сыграли не последнюю роль в его согласии на брак племянницы с Жаном.

Свадьбу предполагалось отпраздновать в усадьбе с тем, чтобы не трогать с места бедную мать, которая каждую неделю диктовала Дивонне или какой-нибудь из “вифаниек” нежное, ласковое письмо своей будущей дочери. И для Госсена это была тихая радость - говорить с Иреной о своих близких, обрести Кастле на Вандомской площади, обрести все свои привязанности вокруг любимой невесты.

Боялся он одного: рядом с ней он выглядит таким старым, таким усталым, а она по-детски радуется тому, что его уже не занимает, радуется радостям совместной жизни, для него уже не существующим. Вот почему, составляя как-то вечером список вещей, которые им надо будет взять с собой в то место, куда он получит назначение, - мебель, обои, - он вдруг

призадумался, и перо у него в руке дрогнуло: ему стало страшно, что он возвращается к своему устройству на Амстердамской, к неизбежному возрождению милых утех, которые для него были отравлены, загублены пятью годами жизни с любовницей, а жизнь эта была ни то ни се: не то брак законный, не то незаконный.

XIV

- Да, мой дорогой, умер нынче ночью на руках у Росы… Только что отнес его к чучельнику.

Композитор де Поттер, с которым Жан столкнулся при выходе из магазина на улице Бак, вцепился в него, стал изливать ему душу, что так не подходило к бесстрастному, жесткому выражению его лица - выражению лица делового человека, и рассказал о мученической кончине Гаденыша, которого сгубила парижская зима, доконали холода, несмотря на вату, на спиртовку, уже два месяца горевшую под его гнездышком, - словом, уход за ним был, как за недоноском. Тем не менее ему все время было холодно, и вот минувшей ночью, когда все собрались вокруг него, в последний раз по всему его телу - от головы до хвоста - пробежала дрожь, и он скончался как истинный христианин благодаря тому, что мамаша Пилар не пожалела святой воды, чтобы окропить его чешуйчатую кожу, через которую, как сквозь призму, были видны приливы и отливы слабеющих жизненных сил, - мамаша Пилар кропила его и, закатив глаза под лоб, приговаривала: “Прости ему, господи, все его перегреченья!”

- Смешно, конечно, а все-таки у меня тяжело на сердце, особенно как подумаю о бедной Росе - я ее оставил всю в слезах… К счастью, с ней Фанни…

- Фанни?..

- Да. Мы с ней давным-давно не видались… А сегодня утром она приехала как раз в разгар семейного горя, и эта добрая душа осталась утешать подругу.

Не заметив, как поразили Жана его слова, он спросил:

- Значит, все кончено? Вы уже не вместе?.. А помните наш разговор на Энгьенском озере? Стало быть, вы все-таки слушаетесь советов…

В его одобрении прозвучала колючая нотка зависти.

При мысли, что Фанни вернулась к Росарии, Госсен наморщил лоб от почти физического ощущения боли, но тут же мысленно пристыдил себя за эту слабость: в конце концов, у него нет никаких прав на эту женщину, и никакой ответственности он за нее не несет.

У дома на Бонской улице, куда они свернули, на старинной улице прежнего аристократического Парижа, де Поттер остановился. Здесь он жил или, вернее, делал вид, что живет, - ради приличия, для отвода глаз: на самом деле проводил все время на авеню Вилье или в Энгьене, а дома изредка появлялся, чтобы его жена и ребенок не казались такими уж заброшенными.

Жан, в сущности, простился с де Поттером и хотел идти своей дорогой, но тот задержал его руку в своих длинных руках с затвердевшими от ударов по клавиатуре пальцами и без всякого стеснения, с видом человека, который давно перестал стыдиться своего порока, сказал:

- Окажите мне услугу: поднимемтесь ко мне! Сегодня я должен обедать у жены, но не могу же я оставить бедную Росу, когда она в таком отчаянии!.. Вы для меня послужите предлогом и избавите от неприятного объяснения.

Кабинет композитора в роскошной и чопорной буржуазной квартире на третьем этаже производил впечатление нежилой, нерабочей комнаты. Что-то уж слишком тут было опрятно: ни малейшею беспорядка, ни намека на ту легкую лихорадку деятельности, которая обычно передается и вещам. На письменном столе ни одной книги и ни одного листка бумаги - стол величественно загромождала огромная бронзовая пустая чернильница, сверкавшая, как на витрине. На фортепьяно, которое напоминало старинный клавесин и за которым создавались первые произведения де Поттера, не было видно нот. В предвечернем сумраке комнаты белел мраморный бюст молодой женщины с тонкими чертами лица и мягким выражением, и от его присутствия еще холоднее казался нетопленый,

задернутый пологом камин, и еще унылей глядели стены, увешанные золотыми венками, лентами, медалями, фотографиями - всей этой горделивой и кичливой ветошью, которую хозяин великодушно оставил жене в виде возмещения и которую она берегла как украшение могилы ее счастья.

Не успели они войти, как дверь в кабинет снова отворилась, и на пороге показалась г-жа де Поттер.

- Это ты, Гюстав?

Она была уверена, что он один в комнате, но при виде незнакомого человека явно смутилась. Красивая, изящная, одетая к лицу, с изысканным вкусом, она казалась благороднее своего изображения: мрамор воспроизвел нежность ее черт, но не передал того мужественного и решительного выражения, какое было у нее в жизни. В обществе о ней говорили по-разному. Одни осуждали ее за то, что она терпит неприкрытое пренебрежение мужа, его привязанность, всем известную, прочную, другие восхищались безмолвной ее покорностью. И все сходились на том, что это натура уравновешенная, что она больше всего на свете ценит покой, что в ее вдовстве ей служит достаточным утешением ласковый, красивый ребенок, а ее самолюбие тешит то, что она носит фамилию великого человека.

Но в то время как композитор представлял своего знакомого и нес околесицу, только чтобы избавиться от обеда в кругу семьи, Госсен по тому, как вдруг задрожало ее молодое лицо, по неподвижности ее невидящего и уже ничего не воспринимающего взгляда, как бы поглощенного душевной болью, догадался, что под светскими условностями заживо погребено большое горе. Она сделала вид, что поверила россказням мужа, - она только тихим голосом произнесла:

- Раймон будет плакать - я ему обещала, что мы будем обедать у его кроватки.

- Как он себя чувствует? - нетерпеливо и рассеянно спросил де Поттер.

- Лучше, но кашель еще не прошел… Ты не зайдешь к нему?

Де Поттер пробормотал, притворяясь, что ищет что-то в кабинете:

- Только не сейчас… Я очень спешу… В шесть часов у меня свидание в клубе…

Он боялся остаться с ней наедине.

- Ну, прощай! - сказала молодая женщина, внезапно успокоившись и уняв дрожь лица, теперь уже гладкого, как вода, по которой только что расходились круги из-за того, что в нее бросили камень. Она простилась и сейчас же ушла.

- Бежим!..

Облегченно вздохнув, де Поттер повел Госсена к выходу, и Госсен раздумчиво смотрел на этого шедшего впереди и державшегося прямо человека в безукоризненно сидевшем на нем длинном и узком, английского покроя, пальто, на этого влюбленного безумца, который так горевал, когда нес к чучельнику хамелеона своей возлюбленной и не зашел поцеловать больного ребенка.

- Это вина тех, кто меня женил, мой дорогой, - как бы отвечая мыслям своего приятеля, сказал композитор. - Хорошую услугу оказали они мне и этой несчастной женщине!.. Надо быть круглым дураком, чтобы пытаться сделать из меня семьянина! Я был любовником Росы, был и остался, и останусь до тех пор, пока кто-нибудь из нас двоих не прикажет долго жить… Если порок нашел самый подходящий момент, чтобы проникнуть к вам в душу, если он угнездился, то разве от него когда-нибудь освободишься?.. Да взять хотя бы вас: вы можете ручаться, что если б Фанни захотела…

Подозвав ехавшего порожняком извозчика, он влез в экипаж и крикнул Госсену:

- Кстати, о Фанни, - слыхали новость?.. Фламана помиловали и выпустили из Маза… По ходатайству Дешелета… Хороший был человек Дешелет! Он и после смерти сделал доброе дело.

Госсен стоял неподвижно, но, не отдавая себе отчета, почему он так взволнован, готов был пуститься вдогонку и ухватить за колеса экипаж, во весь опор мчавшийся по сумрачной улице, где только еще зажигался газ. “Фламана помиловали… выпустили из Маза…” - шепотом повторял он, и

теперь ему стало понятно, почему вот уже несколько дней Фанни молчала, почему оборвались ее жалобы, - их заглушили ласки утешителя, а ведь первая мысль этого человечишки, как только он вышел на волю, была, конечно, о ней.

Госсен вспомнил любовные письма, которые тот посылал ей из тюрьмы, то упорство, с каким Фанни защищала только его одного, так легко отрекшись от других, и вот, вместо того чтобы обрадоваться случаю, который избавлял его от всяких волнений, от угрызений совести, - так было бы логично, - он затосковал, и эта неотвязная тоска, приведя его в состояние лихорадочного возбуждения, долго не давала ему уснуть… Что же это такое? Ведь он разлюбил Фанни. Он беспокоился за судьбу своих писем, оставшихся в ее руках: кто ее знает, а вдруг она прочтет их Фламану и под его дурным влиянием воспользуется ими для того, чтобы нарушить покой и счастье его, Госсена?

Было ли это истинной причиной его тревоги, или же он бессознательно мучился совсем не из-за того, но только забота о письмах толкнула его на неосторожный шаг: он решился поехать в Шавиль, решился на то, чего до сих пор так старательно избегал. Но кому он мог дать столь интимное и щекотливое поручение?.. Февральским утром он с ясной головой и легким сердцем сел на десятичасовой поезд; единственное, чего он боялся, это поцеловать замок и не застать Фанни, которая, может быть, уже умчалась к своему фальшивомонетчику.

Тотчас за изгибом железной дороги он увидел знакомый домик, и открытые ставни, поднятые занавески его успокоили. Госсен вспомнил, как он волновался, когда огонек в его доме, напоминавший крапинку на темной ткани, убегал назад, вспомнил - и посмеялся над самим собой и над недолговечностью своих переживаний. Теперь и он уже не тот, и, конечно, она уже не та. А ведь прошло всего два месяца. Леса, мимо которых шел поезд, еще не покрылись новыми листьями, на них еще кое-где сохранились ржавые пятна листьев, сухих, как в день его разрыва с Фанни, когда лесное эхо повторяло ее стенания.

На этой станции никто, кроме него, не вышел; Госсен, охваченный холодным, промозглым туманом, зашагал по тропинке, скользкой из-за гололедицы; вот и шлагбаум; до самой Лесничьей дорожки он не встретил ни одной живой души, а из-за поворота улицы вышли мужчина, мальчик и

носильщик с тачкой, на которой лежали вещи.

Мальчик, укутанный в шарф, в надвинутой на уши шапке, проходя мимо Госсена, едва не вскрикнул, но удержался. “Да это Жозеф!..” - подумал Госсен, слегка удивленный и опечаленный его неблагодарностью. Обернувшись, он встретился глазами с мужчиной, который вел мальчика за руку. Умное, тонкое лицо, бледное от долгого заточения, только что купленное готовое пальто, белый пух вместо бороды, которую он еще не успел отпустить по выходе из Маза… А, черт, да это же Фламан! А Жозеф - его сын…

Все вокруг осветилось, как при блеске молнии. Он все увидел иначе, все понял, начиная с письма из шкатулки, в котором красавчик гравер поручал своей возлюбленной сына, жившего в провинции, и кончая таинственным появлением мальчика, смущенным видом, с каким говорил о нем Эттема, и взглядами, какие Фанни бросала на Олимпию: разумеется, они все были в заговоре, - они хотели навязать ему сына фальшивомонетчика. Какого же он, Госсен, свалял дурака! Как они, наверно, над ним потешались!.. Он почувствовал неодолимое отвращение к своему постыдному прошлому, ему хотелось бежать от него без оглядки, однако прежде непременно надо было еще кое-что узнать… Мужчина и ребенок ушли, а почему не вместе с ней? Ну, а потом письма, во что бы то ни стало взять письма, ничего не оставлять в этом обиталище нечистоты и горя!

- Барыня!.. Барин приехал!..

Из спальни донесся удивленный голос:

- Какой барин?..

- Это я…

Вслед за тем послышался вскрик и прыжок с кровати.

- Подожди, я сейчас встану… Я сейчас приду…

Уже за полдень, а она еще в постели! Для Жана тут загадки не было. Он знал по опыту, почему на другой день люди чувствуют себя усталыми и разбитыми. И пока он ждал ее в столовой, где ему была знакома каждая мелочь, свисток отходящего поезда, жалобное ме-е-канье козы в соседнем

садике, неубранная посуда на столе - все возвращало его к утрам недавнего прошлого, приводило на память легкие завтраки на скорую руку перед отъездом.

Фанни кинулась было к нему, но его холодность остановила ее, и с минуту они стояли друг против друга, изумленные, нерешительные, - так всегда встречаются люди после того, как близкие отношения между ними оборваны, после того, как мост с обеих сторон взорван, а они - на противоположных берегах, и разделяет их безбрежный и бездонный, кипящий морской простор.

- Здравствуй!.. - сказала она чуть слышно, не двигаясь с места.

Она нашла, что он изменился, побледнел. А на его взгляд, она была удивительно моложава, только слегка пополнела, и не такая крупная, какой он ее себе представлял, и она вся сияла, ее глаза и щеки блестели особенным блеском, той нежной свежестью молодой травы, какая сохранялась у нее на лице после грозовых ночей. Значит, та, прежняя Сафо, при одном воспоминании о которой его, точно ржа, начинала точить жалость, осталась в лесном овраге, заваленном палым листом.

- Оказывается, в деревне встают поздно… - насмешливо заметил он.

Она извинилась, сослалась на головную боль и ни разу при этом не обратилась к нему ни на “ты”, ни на “вы”, - она, как и он, употребляла безличные формы. Затем на его безмолвный вопрос, что означают остатки завтрака на столе, она ответила так:

- Это мальчуган… Он завтракал перед тем, как уехать…

- Перед тем, как уехать?.. Куда?..

Углы его губ изобразили полнейшее равнодушие, но зарница в глазах его выдала.

Фанни пояснила:

- Отец вернулся… И приехал за ним…

- Приехал, как только его выпустили из Маза? Так, что ли?

Она вздрогнула, но, видимо, решила не лгать:

- Да, так… Я ему обещала и обещание исполнила… Я много раз порывалась тебе об этом сказать, но не отваживалась, - боялась, что ты выгонишь бедного мальчугана… Ведь ты такой ревнивый!.. - робко добавила она.

В его смехе прозвучало великолепное презрение… Как же, дожидайся!.. Станет он ее ревновать к каторжанину!.. Чувствуя, что со дна его души поднимается злоба, он резко переменил разговор и заговорил о том, что его сюда привело. Его письма!.. Почему она не отдала их Сезеру? Это их избавило бы от свидания, тягостного для обоих.

- Ты прав, - все так же кротко проговорила она, - сейчас я их тебе верну, они там…

Он прошел за ней в спальню, увидел смятую постель, две подушки, торопливо положенные рядом, ощутил запах окурков, смешанный с благоуханьем женских одежд, - все это было ему так же знакомо, как перламутровая шкатулка на столике. И одна и та же мысль одновременно пришла им в голову.

- Связка небольшая… - открывая шкатулку, заметила она, - пожара мы не наделаем…

От волнения у него пересохло во рту, и, боясь подойти к разворошенной постели, возле которой она в последний раз просматривала его письма, он молча глядел на ее склоненную голову, на крепкую шею, белевшую под узлом волос, на распахнутый шерстяной халат, свободно охватывавший ее полнеющее, разомлевшее тело.

- Вот!.. Тут все.

Как только Жан схватил пачку и сунул ее в карман, мысли его приняли другое направление, и он спросил:

- Стало быть, он взял ребенка?.. Куда же они теперь?..

- На его родину, в Морван, ему хочется забраться в глушь, там он опять займется гравировкой и будет под чужим именем посылать работу в

Париж.

- Ну, а ты?.. Останешься здесь?..

Отведя глаза в сторону, она пролепетала, что ей тут очень грустно. И она думает… может быть, она скоро куда-нибудь съездит.

- Конечно, в Морван?.. Со всем семейством?..

Его ревнивое бешенство вырвалось наружу:

- Говори лучше прямо, что ты поедешь к своему вору и опять сойдешься с ним… Ты давно об этом мечтала… Так, так, опускайся снова на дно… Уличная девка и фальшивомонетчик - вполне подходящая пара, дурак я был, что старался выволочь тебя из грязи.

Она хранила каменное безмолвие, и лишь по временам из-под ее полуопущенных век ликующе проблескивали молнии. И чем яростнее он ее хлестал - хлестал бичом язвительной, злобной насмешки, тем горделивее становилась она и тем заметней подрагивал уголок ее рта. Сейчас Госсен говорил о том, как он счастлив, что полюбил юношески чистой любовью, а это и есть единственная настоящая любовь. Нет большего счастья, как положить голову на грудь женщины и почувствовать биение ее чистого сердца… Затем он словно устыдился своих слов и, внезапно понизив голос, спросил:

- Я встретил твоего Фламана. Он здесь ночевал?

- Да, было уже поздно, поднялась метель… Ему постелили на диване.

- Лжешь! Он спал тут… Достаточно посмотреть на постель, на тебя.

- Ну и что же?

Она приблизила к нему лицо, и в больших серых ее глазах вспыхнул огонь желания…

- Разве я знала, что ты приедешь? После того как я потеряла тебя, мне уже нечего было терять! Я сходила с ума от тоски, одинокая, брошенная…

- А затем привет из каторжной тюрьмы?.. И что ж, понравилось это тебе… после того как ты пожила с порядочным человеком?.. А?.. Небось, заласкали друг дружку?.. Фу, мерзость!.. Ну так вот же тебе!..

Увидев, что он размахнулся, она нарочно не стала увертываться и получила звонкую затрещину, а потом с глухим стоном - стоном боли, счастья, победы - бросилась к нему и вцепилась в него обеими руками.

- Дружочек, дружочек!.. Так ты не разлюбил меня?..

И они оба рухнули на кровать.

Перед вечером его разбудил грохот экспресса. Он открыл глаза и некоторое время ничего не мог понять: он лежал один на большой кровати, ближе к стене, руки и ноги ему точно кто-то вытянул, и так они и остались лежать, словно из них вынули кости, и он не мог пошевелить ногами, как после долгой ходьбы. За день выпало много снегу, а затем началась оттепель, и в мертвой тишине было слышно, как с крыши все что-то капает, течет по стенам и оконным стеклам, временами просачивается через потолок на камин, и по камину, который топят коксом, размазывается грязь.

Где же он? Что он тут делает?

Сад отсвечивал белым, и оттого белой казалась вся комната и освещенный снизу большой портрет Фанни, висевший напротив, и тут он вспомнил о своем падении, но оно ничуть не удивило его. Как только Госсен сюда вошел, как только увидел эту кровать, он почувствовал себя снова в плену, почувствовал, что погиб. Простыни притягивали его к себе, как пропасть, и он подумал: “Если я паду, то уже безвозвратно и навсегда”. Так именно и случилось. И наряду с унылым отвращением к собственной бесхребетности он испытывал как бы некоторое облегчение при мысли, что ему уже не выбраться из трясины, он был счастлив жалким счастьем раненого, который дотащил свое истекающее кровью тело до навозной кучи, чтобы тут и умереть, и, уже не в силах страдать и бороться за жизнь, видя, как хлещет кровь из открытых ран, блаженно погружается в мягкое и зловонное тепло.

Теперь ему оставалось нечто до ужаса простое. Вернуться после измены к невесте, попробовать жить на две семьи, как де Поттер?.. Нет, так низко

он еще не пал… Он напишет Бушро, великому психологу, первому, кто изучил и описал болезни воли, и предложит его вниманию тяжелый случай, историю своей жизни, начиная с той минуты, когда он впервые встретил эту женщину и она взяла его за руку, и кончая нынешним днем, когда ему казалось, что он уже спасен, когда он был счастлив безмерно, когда он был упоен своим счастьем и когда она вновь завладела им, прибегнув к чарам прошлого, отвратительного прошлого, в котором любовь занимала такое небольшое место и где властвовали постыдная привычка и порок, въевшийся в кости…

Дверь отворилась. Чтобы не разбудить его, Фанни кралась на цыпочках. Из-под полуопущенных век он смотрел на нее, крепкую, подвижную, сразу помолодевшую, а она грела у камина ноги, которые промочила в саду, и все поглядывала на него с той легкой улыбкой, какую он заметил у нее утром во время объяснения. Потом взяла пачку мэрилендского табаку, лежавшую где всегда, набила папиросу и направилась в другую комнату, но он остановил ее.

- А, ты уже не спишь?

- Нет… Поди ко мне… Давай поговорим.

Слегка озадаченная торжественностью его тона, она присела на край кровати.

- Фанни!.. Уедем отсюда!

Сперва она решила, что это он говорит только для того, чтобы ее испытать. Но он стал входить в такие подробности, что она разуверилась. Есть вакантная должность в Арике. Он попросит, чтобы его туда назначили. Получит он назначение недели через две, а за это время она успеет уложиться.

- А как же твоя женитьба?

- Ни слова больше о моей женитьбе!.. Это уже непоправимо… Теперь мне ясно, что все кончено, что я не в силах уйти от тебя.

- Бедное дитя! - сказала она с печальной и чуть-чуть пренебрежительной нежностью и, несколько раз подряд затянувшись, спросила: - А это далеко?

- Что, Арика?.. Очень далеко, в Перу… - ответил Госсен и совсем тихо прибавил: - Фламану туда не добраться…

Окутавшись облаком дыма, она задумчиво и загадочно молчала. А он все держал ее руку в своей, гладил ей плечо, затем, убаюканный капелью, падавшей вокруг домика, прикрыл глаза и начал медленно погружаться в тину.

XV

Взвинченный, взбудораженный, одной ногой на корабле, мысленно уже в пути, подобно всем, кто собирается уезжать, Госсен два дня как в Марселе, куда должна приехать и Фанни, а затем они вдвоем сядут на корабль. Все готово, билеты заказаны: две каюты первого класса для французского вице-консула в Арике, едущего со своей родственницей. И вот он, истерзанный вдвойне мучительным для него ожиданием - ожиданием возлюбленной и ожиданием отплытия, меряет шагами облезлый пол своего номера в гостинице. Выйти на улицу он не решается, значит, надо ходить по комнате, двигаться на одном месте. Улицы пугают его, как преступника, как дезертира; на марсельских разномастных сутолочных улицах ему все кажется, что на любом перекрестке, того и гляди, покажется отец или старик Бушро, схватит его за плечо, поймает и уведет.

Он заперся у себя в номере, он даже не ходит к табльдоту, машинально пробегает глазами по страницам книги, бросается на кровать, заполняет досуг разглядываньем развешанных по стенам и засиженных мухами картин: “Лаперуз терпит кораблекрушение” и “Смерть капитана Кука” - или сидит часами, облокотившись на трухлявые перила балкона и прячась за желтой шторой с таким же количеством заплат, как на парусе рыболовного судна.

Отель “Юный Анахарсис”, прельстивший его своим названием, на которое он случайно наткнулся в “Боттене”, когда уславливался с Фанни о встрече, представляет собой не что иное, как старый трактир, и трактир этот не может похвастаться ни роскошью, ни особой чистотой, - его

преимущество в том, что окна его смотрят на пристань, на корабли, на предотъездную толкотню. Под самыми его окнами выставлен на чистом воздухе товар продавца птиц - попугайчики и разные другие гости с островов, сидящие в поставленных одна на другую клетках, приветствуют занимающийся день ласкающим слух немолчным гомоном дремучего леса, а затем, с течением дня, их голоса заглушает и покрывает шум работ на пристани, сообразующийся со звоном колоколов Божьей Матери-заступницы.

Это смутный гул, в который сливаются брань на всех языках, крики лодочников, носильщиков, продавцов ракушек, буханье молотов в доке, скрежет лебедок, звонкий стук рыболовных судов, ударяющихся бортом о пристань, бой склянок, пыхтенье машин, мерный шум насосов, кабестанов, плеск выкачиваемой из трюмов воды, фырканье вырывающегося пара, это грохот, отражаемый и усиливаемый водной равниной, откуда по временам доносится хриплый вой, дыхание морского чудища - дыхание трансатлантика, выходящего в открытое море.

Запахи тоже вызывают в воображении дальние страны, набережные, залитые еще более ярким и жарким солнцем. Пахнет выгружаемым сандаловым и кампешевым деревом, лимонами, апельсинами, фисташками, бобами, арахисом - струя этого пряного аромата, поднимающегося вместе с вихрями экзотической пыли, вливается в воздух, насыщенный морской солью и доносящимся из камбузов запахом пригорелых душистых трав и кипящего на сковородке сала.

По вечерам звуки стихают, воздух разрежается, запахи улетучиваются. Осмелев в темноте, Жан приподнимает штору, между перекрещивающейся штриховкой мачт, рей, бушпритов видит темный уснувший порт, вслушивается в тишину, нарушаемую лишь ударом весла по воде или далеким лаем корабельной собаки, а там, в открытом, совсем-совсем открытом море - маяк Планье, вращая свой длинный, то красный, то белый огонь, режущий тьму, выхватывает из нее мигающим светом молнии очертания островов, фортов и скал. И его мерцающий взгляд, стерегущий тысячи жизней окрест, - это тоже напоминание об отъезде, призыв и сигнал, и зов этот слышится Госсену и в голосе ветра, и в реве волн, и в сиплых гудках парохода, а пароходы в Марселе денно и нощно хрипят и пыхтят на рейде.

Ждать еще целые сутки. Фанни раньше воскресенья не приедет. Остававшиеся до отъезда три дня он должен был провести у родных, посвятить их дорогим для него людям, с которыми он увидится только через несколько лет, а быть может, и совсем не увидится. Но вечером того дня, когда Жан приехал в Кастле, отец узнал, что свадьба расстроилась, догадался, чем это вызвано, и тут последовало бурное, горячее объяснение.

Так что же такое мы сами и наши нежнейшие сердечные привязанности, если порыв гнева, промчавшийся между двумя родными по плоти, по крови существами, вырывает, крутит и уносит их взаимную любовь, их родственные чувства, пустившие такие глубокие и такие тонкие корни, - уносит со слепой, непреодолимой яростью свирепствующих в китайских морях тайфунов, о которых не любят вспоминать даже морские волки, бледнеющие при одном их упоминании. “Не будем об этом говорить!..” - просят они.

И Госсен тоже никогда об этом не заговорит, но всю жизнь будет помнить страшную сцену на террасе, в Кастле, где протекло его счастливое детство, - сцену, разыгравшуюся среди великолепной умиротворяющей природы, на виду у сосен, миртов, кипарисов, стоявших плотным трепещущим строем вокруг отцовского проклятья. Вечно будет у Жана перед глазами высокий старик, судорожно двигающиеся желваки на его щеках, его ненавидящий рот, его ненавидящий взгляд, навсегда запомнится, как старик наступал на него и выкрикивал слова, которые невозможно простить, которыми он изгонял сына из дома за то, что сын попрал семейную честь: “Убирайся вон! Уезжай со своей тварью! Ты для нас умер!..” А как рыдали двойняшки, на коленях ползая по крыльцу и умоляя простить их взрослого брата, как побледнела Дивонна, так и не простившаяся с ним, даже не взглянувшая на него! А наверху в окне доброе встревоженное лицо больной матери, на котором застыл безмолвный вопрос: что за шум, почему Жан так вдруг заторопился и даже не поцеловал ее на прощанье?

Мысль, что он не поцеловал мать, заставила его вернуться, когда он уже проехал полдороги до Авиньона. Сезер остался под горой караулить повозку с вещами, а Жан пошел по проселку и, как вор, забрался на приусадебный виноградник. Ночь была темная. Путаясь в сухих виноградных лозах, он долго искал в потемках дом, теперь для него чужой, и уже отчаялся выбраться. Но в эту самую минуту перед ним смутно

забелели стены, и он вышел прямо к дому. Дверь была заперта, в окнах темно. Позвонить, позвать?.. Он боялся отца. Несколько раз обошел он дом в надежде отыскать хоть одну неплотно прикрытую ставню. Но сегодня, как и всегда, фонарь Дивонны прошелся перед сном по всему дому. Госсен долго смотрел на окно комнаты, где жила его мать, от всего сердца послал прощальный привет родному дому, который сейчас тоже отталкивал его от себя, и, охваченный безнадежностью, с неизбывной теперь уже тяжестью на сердце, пустился бежать прочь.

Обычно перед длительной разлукой, перед путешествиями, во время которых жизнь человеческая зависит от грозных случайностей, от воли моря и ветра, родные, друзья растягивают прощание до самого отплытия, в последний день не расстаются, провожают на корабль, заходят в каюту, чтобы потом легче было мысленно следить за путешественником. Несколько раз в день Жан наблюдает с балкона за такими трогательными проводами, иной раз - шумными и многолюдными, но особенно горько становится ему при виде семьи, которая остановилась этажом ниже. Старик в суконном пиджаке и старуха в желтом полотняном костюме, по-видимому зажиточные провинциалы, приехали проводить сына, и они не уедут отсюда, пока не отойдет пароход. Досуг ожидания проходит у них в том, что они, все трое, матрос - посредине, взявшись за руки и тесно прижавшись друг к другу, смотрят в окно. Они не переговариваются - они сидят обнявшись и молчат.

Жан глядит на них и думает о том, какие чудесные проводы могли бы быть у него… Отец, сестренки… На него опирается ласковой, трепетной рукой та, чей живой ум и смелый дух манит морская даль. Бесплодные сожаления! Преступление совершено, жребий брошен, ему остается только уехать и обо всем позабыть…

Какими жестокими в своей медлительности показались ему часы последней ночи! Он ворочался с боку на бок на своей трактирной кровати и следил за тем, как постепенно окно из черного становилось серым, как потом оно побелело от занимавшейся зари, как побелевший восток еще некоторое время прокалывала красная звездочка маяка и как взошедшее солнце ее наконец-то смахнуло.

Только после этого Госсен заснул, а проснулся от яркого света, разбрызганного по всей комнате, от щебета в клетках под окнами, от

марсельского воскресного перезвона колоколов, наполнявшего собой набережную, которую словно расширило безлюдье, наполнявшего собой гавань, нынче притихшую оттого, что машины отдыхали в праздничный день, расцветивший флагами корабельные мачты… Десять часов! Экспресс прибывает из Парижа в двенадцать. Госсен быстро одевается и идет встречать возлюбленную. Они позавтракают у самого моря, отправят вещи на корабль, а в пять часов пароход отчалит.

День чудесный, на высоком небе белыми пятнами мелькают чайки, море темно-синее, густо-синее, а вдали - паруса и дымки, все отчетливо видно, все сверкает и все в движении. И, как будто это поют солнечный берег, прозрачная вода и прозрачный воздух, под окнами гостиницы звучит исполняемый на арфах итальянский мотив божественной простоты, но эти звуки, льющиеся из-под бегающих по струнам пальцев музыкантов, невольно хватают за сердце. Это больше чем музыка - это крылатое выражение южного веселья, безбрежного счастья, жизни, полной до слез! И волнующее рыдающее воспоминание об Ирене проходит в мелодии. Как все это далеко!.. Какой прекрасный покидает он край, и как будет он жалеть - вечно жалеть - о разбитом вдребезги прошлом!

Пора идти!

При выходе из гостиницы Жан сталкивается со слугой.

- Вам письмо, господин консул… Оно пришло утром, но вы, господин консул, так крепко спали!

Знатные путешественники редко останавливаются в отеле “Юный Анахарсис”, - вот почему славные марсельцы, которые служат в отеле, стараются кстати и некстати возвещать титул постояльца… От кого ему может быть письмо? Кроме Фанни, никто не знает его адреса… Он всматривается в почерк на конверте, пугается и сразу понимает все.

”Нет, я не поеду! Это величайшее безумство, и решиться на него у меня не хватает сил. Милый друг! Для таких потрясений нужна или молодость, а у меня ее нет, или ослепление сумасшедшей страстью, но ни ты, ни я не ослеплены. Пять лет назад, в наши с тобой лучшие дни, тебе стоило махнуть рукой, и я пошла бы за тобой на край света, - ведь ты же не станешь отрицать, что я любила тебя страстно. Я отдала тебе все, что

имела. Когда же мне пришлось оторваться от тебя, я страдала так, как еще ни из-за кого не страдала. Но знаешь, того, прежнего, чувства я уже к тебе не испытываю… Видеть, что ты так красив, так молод, вечно дрожать за свою судьбу, постоянно держать себя в напряжении!.. Нет, я больше не могу, я из-за тебя столько пережила, столько выстрадала, и теперь я выдохлась.

При таких условиях далекое путешествие и резкая перемена в жизни не могут не страшить меня. Куда мне! Ведь я же домоседка, дальше Сен-Жермен никогда не заезжала. А потом, женщины на юге быстро стареют: тебе еще тридцати не исполнится, а я буду желтая, сморщенная, как мамаша Пилар. Ты же еще будешь на меня сердиться за то, что пожертвовал собой ради меня, ты все свалишь на бедную Фанни. В одной из восточных стран существует обычай (это я вычитала в одном из твоих номеров “Вокруг света): если жена изменит мужу, ее живую зашивают вместе с кошкой в свежесодранную звериную шкуру, а затем этот воющий, барахтающийся тюк выносят на берег моря, на самый солнцепек. Женщина вопит, кошка царапается, обе терзают друг друга до тех пор, пока шкура не затвердеет и не стянется вокруг этой страшной схватки двух пленниц, - терзают до последнего хрипа, до последнего шевеления тюка. Нечто похожее на эту пытку ожидало и нас…”

Подавленный, ошеломленный, он на секунду оторвался от чтения. Насколько хватал глаз, искрилась синь моря. “Addio” [10 - Прощай! (итал.)] - пели арфы, к которым присоединился голос, такой же страстный и пылкий, как и они… Addio!.. И тут он ясно увидел никчемность своей пропащей и опустелой жизни: сплошные обломки и слезы, сжатая нива, на которой больше ничто и никогда не взойдет, и все ради женщины, которая от него ушла…

”Мне надо было сказать тебе об этом раньше, но у меня не хватило духу: ты уже настроился, решился. Твое радостное возбуждение передалось и мне. А тут еще женское самолюбие, вполне естественная гордость от сознания, что после разрыва я вновь тебя покорила. Но в самой-самой глубине души я чувствовала, что что-то не то, что-то во мне хрустнуло, надломилось. Да и мудрено ли после стольких встрясок?.. Пожалуйста, не думай, что это из-за горемыки Фламана. Для него, так же, как и для тебя, так же, как и для всех остальных, сердце мое умерло и уже не воскреснет. Но у меня есть ребенок: вот без него я жить не могу, и это он вновь

соединяет мою жизнь с жизнью своего отца, несчастного человека, который сломал свою судьбу ради любви и вернулся ко мне из тюрьмы таким же любящим и нежным, как при нашей первой встрече. Можешь себе представить? Когда мы свиделись после разлуки, он всю ночь проплакал у меня на плече. Теперь ты понимаешь, что тебе не стоило лезть на стену от ревности…

Родненький ты мой! Я устала любить! Теперь я нуждаюсь в том, чтобы любили, баловали, голубили, лелеяли меня. Этот человек будет вечно у моих ног, он никогда не обратит внимания ни на мои морщины, ни на седину. Он собирается на мне жениться, и он будет считать это честью для себя. Сравни… Но только смотри, не делай глупостей! Я приняла все меры, чтобы ты не мог меня разыскать. Я пишу тебе это письмо на станции, в буфете, и вижу в окно деревья, вижу за ними дом, где у нас с тобой было столько хорошего и столько тяжелого, а на двери ветер треплет объявление - дом ждет новых жильцов… Ну вот ты и свободен, ты никогда больше обо мне не услышишь… Прощай! Целую тебя в шейку, дружочек… в последний раз…”

Комментарии

Жадэн Луи-Годфруа (1805-1882) - французский художник, писавший главным образом сцены охоты.

Изабе Эжен-Луи-Габриэль (1804-1886) - французский художник, пейзажист и жанрист.

Коро Камиль (1796-1875) - великий французский художник-пейзажист.

Тома Кутюр (1815-1879) - французский художник, один из наиболее талантливых представителей академического направления.

Юндт Густав-Адольф (1830-1884) - французский художник, жанрист и карикатурист.

Хам (псевдоним Амедея де Ноэ, 1819-1879) - французский график, карикатурист и жанрист; взял псевдоним “Хам”, так как его фамилия де Ноэ может значить “сын Ноя”.

Гранд-Шомьер - танцевальный зал в Париже, в двадцатых - тридцатых годах - любимое место сборищ студентов и богемы Латинского квартала.

Сен-Лазар - с эпохи французской революции до 1935 г. - госпиталь и женская тюрьма в Париже.

Джемс Тиссо (1836-1902) - французский живописец и гравер.

…у Неккера… - то есть в парижской больнице, носящей имя ее основательницы - писательницы-моралистки Сюзанны Неккер (1739-1794).

Г-н Прюдом - тип ограниченного и самодовольного буржуа, созданный Анри Монье в его книге “Записки г-на Жозефа Прюдома” (1857), где герой торжественно изрекает напыщенные глупые афоризмы.

Национальная школа - Национальная школа пения и декламации, парижская консерватория, основанная в конце XVIII в.

”Рокайль” (от франц. “rocaille” - мелкий камень) - стиль архитектурной отделки, модный в эпоху Людовика XV: стены отделывались осколками камней, ракушками и т. п.

Ланкре Никола (1690-1743) - французский художник, прославившийся изображением “галантных празднеств” на фоне садовых и парковых пейзажей.

Кардинал Ла Балю Жан (1421-1491) - любимец короля Людовика XI, государственный деятель, отличавшийся крайней алчностью и вероломством. Был арестован за государственную измену и одиннадцать лет просидел в клетке, которую сам изобрел для наказания преступников.

Клодьон (Клод Мишель, 1738-1814) - французский скульптор, автор статуэток, изображающий детей, танцующих нимф, обнаженных девушек, играющих с птицами.

Будем веселиться, пока молодые… - начальные слова популярной студенческой песни на латинском языке - “Гаудеамус”.

”Вифанийки”. - Так близнецов прозвали потому, что, по Евангелию, Марфа и Мария, сестры воскрешенного Христом Лазаря, в честь которых

им дали имена, были жительницы города Вифании.

Кампешевое дерево - растет в Центральной Америке; ярко-красная древесина дерева применяется как краситель.

Оглавление